Ж52
Г47

Влад. Гиляровский

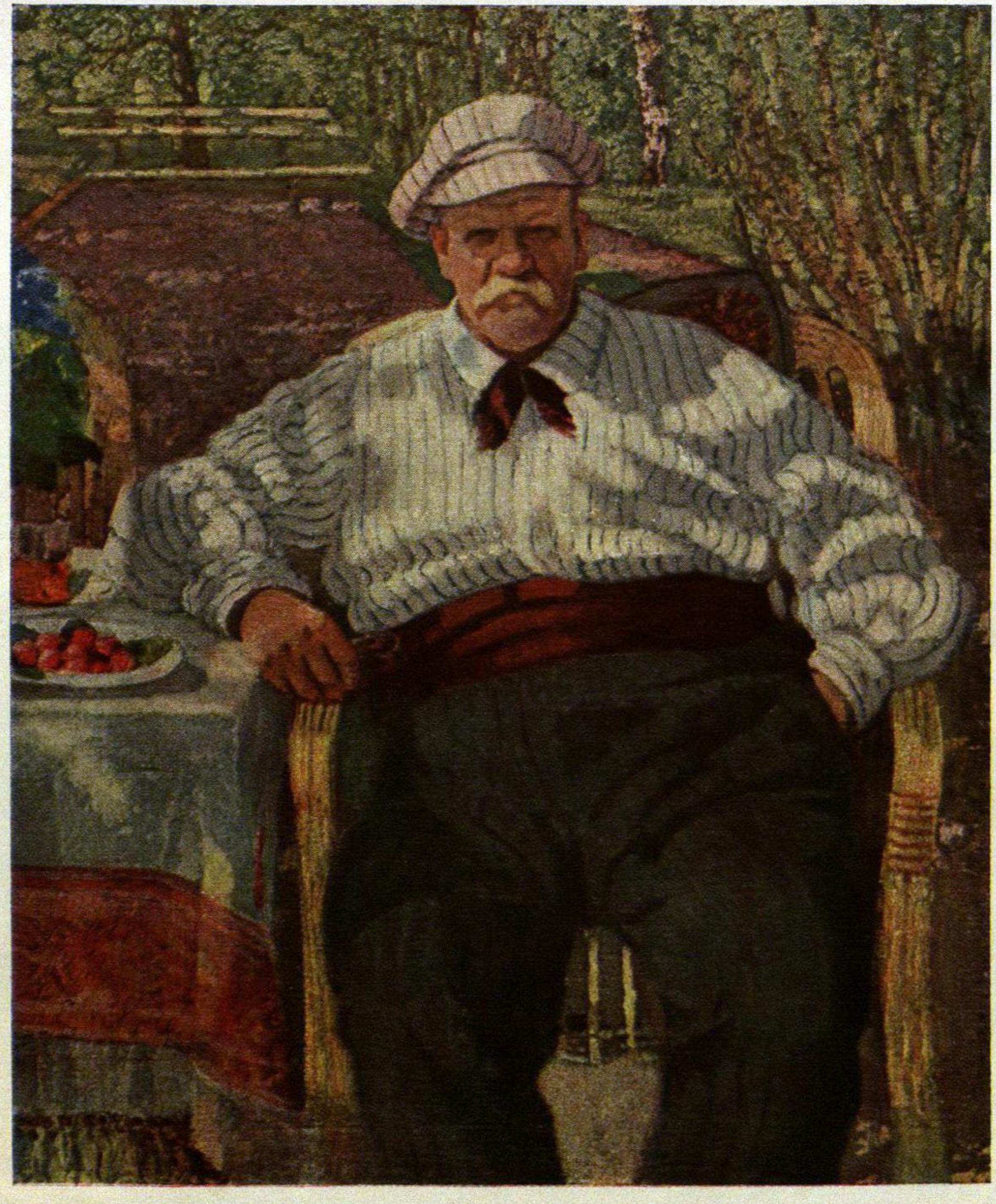
ЛЮДИ ТЕАТРА

ЦЕНТРАЛЬНОЕ

28987

21.01.19
2.04.19

Сталинградская
областная
библиотека
им. М. Горького



В. А. Гиляровский.

Портрет работы художника А. М. Герасимова.

Вл. А. ГИЛЯРОВСКИЙ

792
Г. 47

ЛЮДИ ТЕАТРА

Повесть актерской жизни

2 в 807
194
п. 18

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ИСКУССТВО
МОСКВА · ЛЕНИНГРАД
1941

Переплет, титул, заставки
художника Н. М. Лобанова

Сталинградская
областная
библиотека
им. М. Горького

ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА

«Люди театра» — это не исследование. Это просто воспоминания о тех, с кем я встречался, когда еще сам был человеком театра.

Вернее сказать, это — описание моих театральных скитаний, вспоминая о которых я молодею на полвека. Рассказываю своим внимательным слушателям в часы интимных бесед и вижу, что этим доставляю им удовольствие, а себе вдвое. А потом уже пишу почти теми же словами, как рассказывал.

Ни в этих рассказах, ни в записях никакой выдумки нет (я так много интересного видел в жизни) — я просто беру людей, события, картины, как их помню, и подаю их в полной неприкосновенности. без всяких соусов и гарниров.

Так же создавалась книга самая любимая из всех написанных мною — «Мои скитания».

Люди театра — это те, которые живут театром, начиная от знаменитых актеров и кончая театральными плотниками и даже переписчиками пьес и ролей, ютившимися в ночлежках «Хитровки».

Много я знал на своем веку театрального люда: с кем дружил, с кем служил, перевидел почти всех знаменитостей. И вот на фоне жизни того времени, когда театры еще освещались керосиновыми лампами, попробую дать фигуры моих современников.

О великих людях тогдашней сцены все известно из их биографий, из рецензий, из мемуаров. Писать о них, только о них — значит повторяться.

Они, так же как и все остальные люди театра, по большей части попадали на сцену случайно и «выплыли наверхи».

Тогда в театр не поступали, а именно попадали, как попадают под суд, под поезд, в тюрьму.

Как попадали люди в театр, как они жили, что окружало их, как иногда они бросали сцену и почему-то вновь возвращались в театр,— вот что я хочу показать в моей «повести актерской жизни».

А для этого приходится писать о себе, рассказать, как я попал на сцену, уходил и снова возвращался в ту среду, которая теперь панорамой развертывается перед моими глазами.

В книге пройдут и великие знаменитости и никому неведомые, безыменные, и все они составят людей театра. Пройдут тут и такие, которые ничего общего с театром не имели, и даже такие, которые слово «театр» не слыхали, но все они необходимы для обрисовки моментов, пережитых одним из людей театра, без которых он не был бы тем, чем он был.

«Люди театра» — это повесть только с настоящими именами, датами и местами действия, повесть о действительных событиях, со списанной с натуры обстановкой, с рядом описаний картин или записанных тогда по горячим следам в форме дневников, писем или воспоминаний, вынутых из памяти автора — действующего лица, представляющего собою одного из «людей театра».

Январь 1935 г.

ОТРЫВКИ ИЗ АВТОБИОГРАФИИ

Родился я, как сказано в словаре Брокгауза, в 1855 году, 26 ноября. Здесь опечатка. Родился я в 1853 году, но будем считать по Брокгаузу,— приятнее быть помоложе.

До двенадцати лет рос я на дальнем хуторе, в дремучих вологодских лесах, где медведи «пешком» ходили, как выражался дядя Китаев, беглый матрос-кругосветник, друг отца и деда. При глухой вологодской деревне, на хуторе, в лесах непроходимых, наслушался я песен моей матери «о степях да о садочках вишневых».

А у нас кругом, кроме ели да сосны, ничего не было. Наслушался я песен об удали казацкой, когда втроем — дед, бабушка и мать — поют их, а дед начнет рассказывать о Запорожье, о кавказских походах.

Мать любила читать вслух Пушкина и Лермонтова и сама писала стихи. Я помню маленькую тетрадку с ее стихами, она пропала после ее смерти, когда мне было девять лет. Может быть, мать сожгла ее во время болезни. Дед мой любил Пушкина и особенно Рылеева, тетрадка со стихами которого, тогда запрещенными, была у отца.

Часто отец читал стихи вслух, а дед, слушая Пушкина, говорил, что Димитрий Самозванец был действительно запорожский казак и на престол его посадили запорожцы. Это он слышал от своего отца и деда и других стариков...

Отец мой — уроженец Новгородской губернии, а дед в сороковых годах прибыл с женой с Кубани. Отец деда со стороны матери, запорожец, бежавший с Сечи, разгромленной Екатериной, очутился в вологодской глуши управляющим небольшим имением, владелец которого никогда не бывал в нем. Отец, совсем юный еще тогда, жил по соседству в селе. Оба они были завзятые рыбаки и медвежатники. Кто из них был сильнее: седой ли усатый дед, огромного роста, или мой отец — не знаю. Знаю только одно — что медведя брали на рогатину. С семи лет я ходил с ними на рыбную ловлю и на охоту, которую я полюбил на всю жизнь.

Таковы были мои предки: потомок запорожцев со стороны матери, потомок новгородских ушкуйников со стороны отца.

Немудрено, что бродягой вышел.

Отец получил место чиновника губернского правления, пришлось переехать в Вологду.

Дед и бабушка не захотели оставаться одни в лесу и переехали с нами.

Это было за год до объявления воли, во времена крепостного права. Помнится, что деда очень любили и уважали за справедливость и силу. Мужики звали его «дядя Мусат». Фамилия его была Мусатый по документам, а по отцу Усатый. При переезде на север он по каким-то причинам прибавил себе букву «М».

Крестьяне устроили нам трогательные проводы, потому что отец и дед пользовались особенной любовью. За все время управления дедом лесным имением, где даже барского дома не было, никто не был телесно наказан, никто не был обижен, хотя кругом свистали розги и за малейшую провинность люди сдавались в солдаты, а то и в Сибирь ссылались.

В нашу глушь даже местные власти не показывались, помещики ограничивались получением оброка, съестных

припасов да дичи к рождеству, а сами в глаза не видали своего имения, в котором дед был полным властелином и, воспитанный волей казачьей, не признавал крепостного права, жили по-казачьи запросто и без чинов.

В Вологде мы квартировали в доме купца Крылова, а на лето уезжали в «Светелки» — имение, принадлежавшее Наталии Александровне Назимовой.

Она была, как все говорили в Вологде, нигилистка, ходила стриженая и дружила с нигилистами. «Светелки» было крошечное именьице в домшинских непроходимых лесах, где жил тогда и матрос Китаев — мой воспитатель.

Назимова была дочь генерала и родственница родовитых дворян Разнатовских, отец которых был другом и сослуживцем М. М. Сперанского. Тогда он уже умер, а семья жила в Вологде. Несмотря на родственные связи, Назимовой все же пришлось эмигрировать за границу вместе с доктором Коробовым, который находился под строжайшим надзором властей.

Вологда (в то время ссыльный город) была переполнена «политическими», с которыми дружил мой отец. Особенно с двумя братьями Васильевыми, моими репетиторами.

Рядом с нами жил еще содержатель цирка «Араб Кабил Гуссейн-бен—Гамо». У него был сынишка Осман, которого звали Оська, мой друг и однолеток. Отец обучал его цирковому искусству — два раза в неделю, по вторникам и пятницам. И меня тоже. В эти дни я бегал из гимназии в цирк. В два года я сделался гимнастом-акробатом хоть куда и начал ездить верхом.

Все это, вместе с охотой и наставлениями матроса Китаева, который обучил меня всякой матросской удали, вплоть до неведомого тогда джиу-джицы, сделало меня сильным и ловким не по летам.

— Храни тайно! Никому не показывай приемов, а то они силу потеряют,— наставлял меня Китаев, и я слушал его.

* * *

Со смертью матери резко изменилась моя жизнь.

Отец мой женился на Марии Ильиничне Разнатовской. Умер дед, и мы начали на лето ездить в «Деревеньку» — имение моей новой бабушки Марфы Яковлевны Разнатовской, добродушнейшей, полной старушки, совсем непохожей на важную барыню-помещицу. Она любила хорошо поесть и целое лето проводила со своими дворовыми, еще так недавно бывшими ее крепостными, варила варенье, соленье и разные вкусные заготовки на зиму, которые возами отправлялись в Вологду.

Тут же, после смерти деда, поселился и Китаев, продолжавший меня «воспитывать» по-своему.

Моя мачеха, добрая, ласковая, образованная, засадила меня за французский учебник, полюбила, как сына, и всячески старалась отучить от дикости моих первобытных привычек. Французский язык я постиг в скорости, но «светские манеры» после моего «гувернера» Китаева мне не давались. Особенно трудно мне стало, когда отец с матерью по делам службы уехали года на два в город Никольск, а я переселился в семью Разнатовских, где милые тетеньки очень меня начали допекать: и сел не так, и встал не так, и ешь, как мужик.

Защитником моим был дядя Николай Разнатовский, иногда наезжавший из своего имения, а во время каникул брат его Саша, студент Петербургского университета, сдружившийся со мной — гимназистом второго класса.

С гимназией иногда у меня бывали нелады: математика трудно давалась. К тому же увлечение цирком плохо отзывалось на занятиях, а следить за мной было некому.

Сначала Саша репетировал меня, а потом исчез бесследно. Говорили, что бежал за границу. В семье Разнатовских его имя не упоминалось.

В это время среди вологодских ссыльных были и по «делу Чернышевского» и «Молодой России», и нигилисты, и народники.

Ходили нигилисты в пледах и очках и обязательно в широкополых шляпах, а народники — в красных рубахах, поддевках и смазных сапогах, также носили очки синие или дымчатые и тоже длинные, по плечам волосы. И те и другие были обязательно вооружены самодельными дубинами — лучшими считались можжевельные, которые добывались в дремучих домшинских лесах.

Нигилистки коротко стриглись, носили такие же очки, красные рубашки-косоворотки и маленькие шапочки, вроде кучерских.

Около того же времени исчез сын богатого вологодского помещика Левашов, большой друг Саши, часто бывавший у нас. Про него говорили, что он «ушел в народ», даже кто-то видел его на Волге в армяке и лаптях, ехавшего вниз на пароходе среди рабочих. Мне Левашов очень памятен — от него первого я услыхал новое о Стеньке Разине, о котором до той поры я знал только, что он был разбойник и что его проклинают за это анафемой в церквах великим постом.

Меня в разговорах не стеснялись. Саша и мой репетитор Николай Васильевич раз навсегда предупредили, чтобы я молчал о том, что слышу, и что все это мне надо знать для будущего. Конечно, я тоже гордо чувствовал себя заговорщиком, хотя мало что понимал.

Как-то я зашел в комнату Саши,— он жил совершенно отдельно на антресолях. Левашов говорил о Разине с таким увлечением, что я сидел, раскрыв рот. Помню: «Анафеме предали! Не анафеме, а памятник ему поставить надо. И дождемся, будет памятник. И не один еще Стенька Разин будет: их много, в каждой деревне найдется, на каждой станции сыщется,— а на Волге сколько их! Только надо, чтобы их еще больше было, надо потом слить их да ахнуть! Вот тогда-то все ненужное к чорту и полетит!»

Это было последний раз, когда я видел Сашу и Левашова.

Этот день крепко засел у меня в голове, и потом все чаще и чаще просвещал меня Васильев, но я все-таки немного понимал. Читал я тогда мало, и если увлекался, то более всего Майн-Ридом и Купером. Газет я тоже никогда не читал. Слушал много умного, но понимал все по-своему. Меня тянуло больше к охоте.

В августе я переезжал в город, так как начинались занятия. Наши оставались в деревне. Кружок ссыльных собирался в глухом саду при городской квартире. Весело проводили в этом саду время: пили пиво, песни пели, особенно я любил про Стеньку Разина, потом играли в городки, боролись, возились. Здесь я чувствовал себя в своей компании, отличался цирковыми, акробатическими штуками, а в борьбе легко побеждал бородатых народников, памятуя науку своего дядьки Китаева.

Мне было пятнадцать лет, выглядел я по сложению много старше. И вот как-то ловким, китаевским приемом я перебросил через голову боровшегося со мною толстяка Обнорского, и он, вставая, указал на меня:

— Настоящий Никитушка Ломов!

— Ушкуйник,— сказал Васильев.

Ушкуйником меня прозвали в гимназии, потому что год назад я убил медведя.

«Ушкуйник-то ушкуйником, а вот кто такой Никитушка Ломов?» — заинтересовало меня. Я спросил об этом Николая Васильевича, и через несколько дней он принес мне запрещенную книгу Чернышевского «Что делать?»

Я зачитался этим романом. Неведомый Никитушка Ломов, Рахметов, который пошел в бурлаки и спал на гвоздях, чтобы закалить себя, стал моей мечтой, моим вторым героем. Первым героем был матрос Китаев.

Шло время. И вот в один прекрасный день, после неудачного экзамена по математике, сказав дома, что еду с товарищем в Никольский уезд, я решил осуществить свою мечту — бежать на Волгу, в бурлаки, послужить

угнетенному народу и, может быть, самому стать Стенькой Разиным.

На Волге мне посчастливилось. Я сразу попал в бурлацкую артель. Сменял сапоги на лапти и надел лямку.

Это был 1871 холерный год. Бурлаки мерли, как мухи, и всякому рады были, а я чуть не по первой же ватаге, за свою силу, которая ценилась выше всего, стал первым. За путину сдружился со старым бурлаком Костыгой, который, по приходу нашему в Рыбинск, взял меня с собой в артель крючников, основанную замечательным в свое время разбойничьим атаманом Репкой, тоже бурлаком.

В народе Рыбинск нуждался. Холера косила во-всю. То и дело отваливали от берега лодки на остров,— говорили, что возят умерших хоронить.

Но я никакого внимания на это не обращал,— я достиг своей цели. На мне уже была красная, с золотым галуном, жилетка батыря с кобылкой на спине, и за силу и веселость я пользовался уважением товарищей.

Что было бы дальше, куда бы повернулась судьба моя— не знаю, если бы не произошло следующее: проработал я в артели Репки около месяца и, жалея моего отца и мачеху, написал им письмо, в котором рассказал в нескольких строках, что прошел бурлацкую Волгу, что работаю в Рыбинске крючником, здоров, в деньгах не нуждаюсь, всем доволен и к зиме приеду домой.

Не буду говорить подробно, как отец меня отыскал в артели, как он полюбовался моей загорелой фигурой в красном жилете, как он меня обнял, расцеловал,— и всю жизнь не забуду его слова, особенно дорогие в те времена:

— Будь ты хоть каторжник, но честный человек!

А потом мы пошли с ним в город. Он меня одел в магазине готового платья с ног до головы, причем я не позволил ему заплатить, а отдал свои деньги. У меня было больше ста рублей.

Одно только: отец не позволил мне проститься с артелью, потому что пароход давал второй звонок.

С этого дня вся моя дальнейшая жизнь изменилась. На пароходе ехал поручик Нежинского полка Егорьев — знакомый отца. И он решил мою судьбу. В Вологду я уже не поехал, а поступил вольноопределяющимся в Нежинский полк, который стоял лагерем за Полушкиной рощей под Ярославлем.

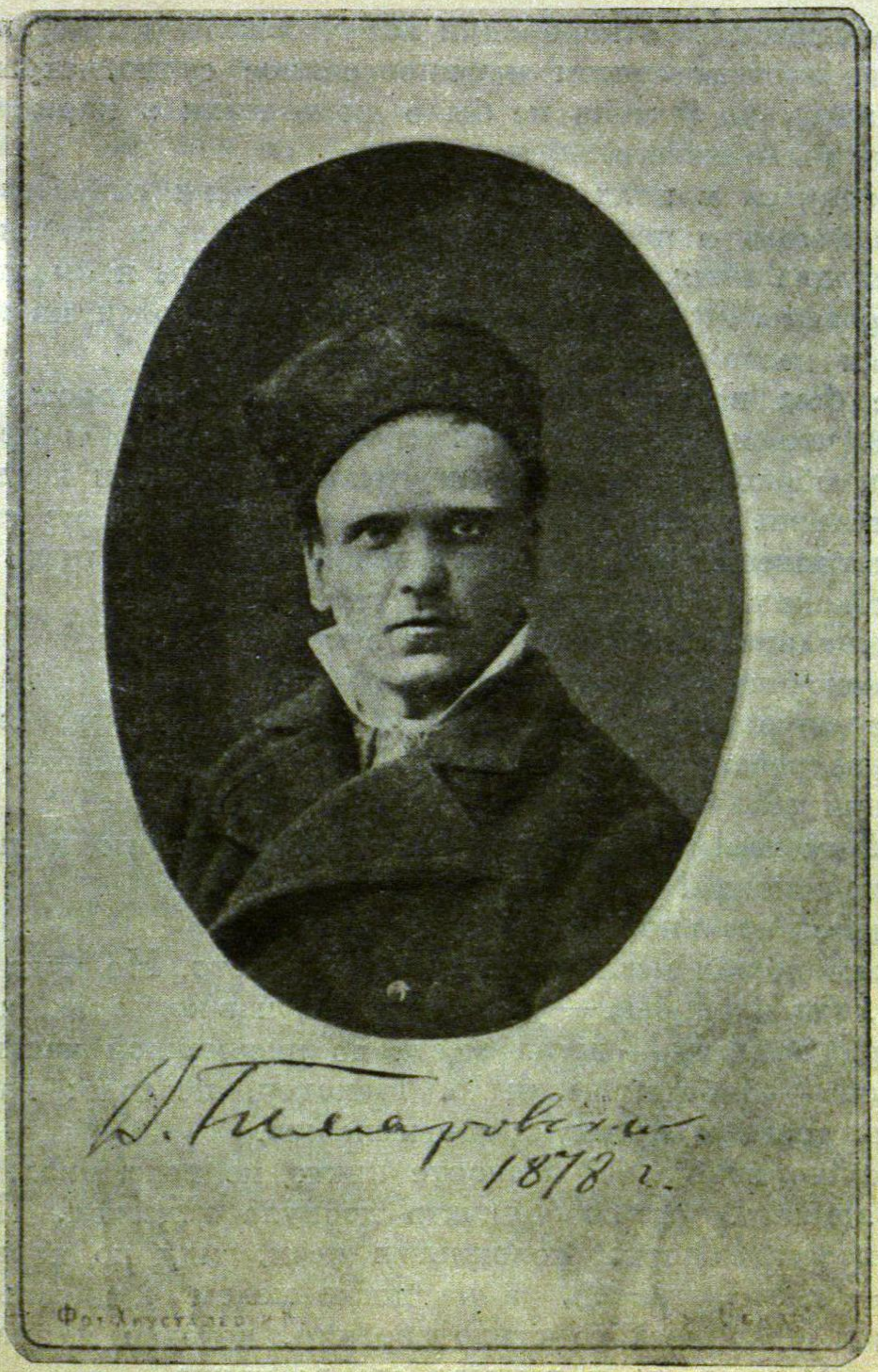
Два года военной службы. Прекрасный гимнаст, я скоро выделился как строевик, но дерзкий на язык, как аттестовал меня впоследствии моему отцу командир полка, я плохо уживался с дисциплиной.

Какой-то оторванной от всего мира текла жизнь в полку. Ведь это был 1871 год, а в полку не только солдаты, но и офицеры понятия не имели, что идет франко-прусская война, что в Париже Коммуна. Жили своей казарменной жизнью и, кроме разве как в трактир, да и то редко, никуда не ходили, нигде не бывали, никого не видали, а в трактирах в те времена ни одной газеты не получалось, да и читать-то их все равно никто бы не стал.

Не лучше было и в юнкерском училище, когда я, после грязных нар Николо-Мокринских казарм в Ярославле, очутился в роскошном дворце московского училища в Лефортове и заснул на кровати с чистым бельем.

Дисциплина была железная, свободы никакой. Только по воскресеньям отпускались юнкера в город до девяти часов вечера. Будние дни были распределены по часам, ученье до упаду. Развлечений никаких. Никто из нас не бывал в театре, потому что на это, кроме денег, требовалось особое разрешение. Всякие газеты и журналы были запрещены, да, впрочем, нас они и не интересовали.

За одну «провинность», в которой я совершенно не был виноват, меня «исключили» из училища и вновь отчислили в полк «по распоряжению начальства и без указания причины».



В. А. Гиляровский

Я был жестоко оскорблен и хотел бежать в Ригу, в Питер, наняться матросом на иностранное судно, скрыться за границу, но у меня не было ни копейки в кармане, а продать было нечего.

Я вернулся в полк. Рота встретила меня сочувственно, все же мысль о побеге, даже о приключениях Робинзона не покидала меня, и я решил уйти со службы и «махнуть» в Астрахань. Я подал в отставку и был уволен из полка с самым настоящим волчьим паспортом.

Мне был вручен послужной список, в котором была строка, что я уволен из юнкерского училища и препровожден обратно в полк за неуспехи в науках и неудовлетворительное поведение. Дали мне еще аттестат из гимназии, метрическое свидетельство и два рубля тридцать пять копеек каких-то причитающихся мне денег.

Как вольноопределяющийся в отставке, я не имел права носить военную одежду. Закусив в трактире, я продал на базаре свою шинель, мундир и форменное кепи, сменяв их на потрепанное пальто и на ватную старую шапку. Подцев вниз теплую душегрейку, я посмотрел на себя:

— Зимогор! Рвань рванью! Только сапоги и штаны с кантом новые!

И действительно, я стал зимогором.

Утром пошел искать какое-нибудь место. Но куда я ни ходил, где я ни был — и в магазинах, и в конторах, и в гостиницы заходил — искал места по письменной части, все напрасно — работы не было. Наконец, повезло: нанялся колоть дрова в военную прогимназию.

Покойно зажил. О паспорте никто не вспоминал. Дети меня любили. Да созорничать дернула нелегкая. Принес в воскресенье дрова, положил в печи, иду по коридору, вижу — класс отворен, а на доске мелом написаны две строчки французского стихотворения, которое я знал наизусть. Я взял, да и дописал его до конца.

— Дядя Алексей стихи пишет!

Я всегда называл себя по имени и отчеству моего отца, чтобы не забыть и не спутаться: Алексей Иванов.

Окружили, что и как!

Наврал им, что меня учил гувернер нашего барина, и попросил никому не рассказывать.

Потащили меня в гимнастическую комнату и рассказали.

— А наш учитель Денисов на месяц в Москву едет, а с завтрашнего дня новый будет гимнаст — подпоручик Павлов из Нежинского полка.

Павлов — мой взводный! Нет, надо бежать!

Опять на холоду, опять без квартиры. Потом служил пожарным, потом рабочим на белильном заводе.

Без всякой прикрасы, только изменив фамилию и скрыв название города — Верхневолжск вместо Ярославля,— я напечатал впоследствии в «Русских ведомостях» в 1886 году рассказ о жизни рабочих белильных заводов, с репортерской точностью фотографируя типы завода и целиком описывая обстановку, «не подпуская беллетриста», как говорил мне покойный Глеб Иванович Успенский, которому рассказал я все пережитое мной на этом заводе.

Мне тогда казалось грехом и преступлением что-нибудь преукрасить, мне хотелось всю душу выложить в пережитом, хотелось еще раз перечувствовать ужасные впечатления, и я писал правду, только неукрашенную, нагую правду.

Писал я, и кипела у меня молодая душа, возмущенная «мировыми вопросами».

За что? Зачем? За что люди гибнут? Зачем одним хорошо, а другим плохо?

И писал для того, чтобы обратили внимание, наконец, на ужасное положение несчастных белильщиков и зимогоров.

И дальше. Когда я в 1887 году напечатал свою книгу рассказов «Трущобные люди», было обращено внимание даже на название:

«Обреченные».

Книгу эту мою тогда цензура, по постановлению Кабинета министров, уничтожила: ее сожгли в декабре 1887 года на дворе Сущевской части в Москве.

Целую зиму проработал я на белильном заводе в самых ужасных условиях и уцелел только благодаря моей исключительной физической силе, потому что, выполнив норму да еще сдав большую часть за больного товарища, ежедневно колол дрова на все печи, и это пребывание на свежем воздухе спасло меня от отравления свинцовыми белилами, от чего медленно угасали люди более слабые, чем я.

С первым пароходом я махнул вниз по Волге, случайно встретился с моими товарищами по вологодскому цирку и стал наездником.

«Алексис на неоседланной лошади», как стояло в программах цирка. Но в цирке мне было скучно, и я подался опять в низовья работать по пристаням. Тут случилось событие, которое снова перевернуло мою жизнь. Я попал в Нижний, работал на ярмарке, потом отправился в Казань. В Казань пароход пришел в девять часов утра. Отходил он в три часа. Я пошел в город на время остановки. Закусив в дешевом трактире, отправился обозревать достопримечательности, не имея никакого определенного плана. В кармане был кошелек с деньгами, на мне новая поддевка и красная рубаха,— результат за лето работы в Нижнем.

Иду по какому-то переулку — и вдруг слышу отчаянный крик нескольких голосов:

— Держи его, дьявола! Держи, держи его!

Откуда-то из-за угла вынырнул молодой человек в красной рубахе и поддевке и промчался мимо, чуть с ног меня не сшиб. У него из рук упала пачка бумаг, которую я хотел поднять, и уже нагнулся, как из-за угла, с гиком, налетели на меня два мужика и городовой и схватили. Я ровно ничего не понял, и первое, что сделал,— дал по затрещине мужикам, которые отлетели на мостовую, но

городовой и еще сбежавшиеся люди, в том числе квартальный, схватили меня.

— Не убежишь!

— Да я и бежать не думаю,— отвечаю.

— Это не он, тот туда убежал,— вступился за меня прохожий.

Разъяснилось, что я не тот, которого ловили, хотя на мне тоже была красная рубаха.

— Да вот у него бумаги в руках, вашбродие,— указал городовой на поднятую пачку.

— Это я сейчас поднял, мимо меня пробежал человек, обронил, а я поднял.

— Гляди, мол, тоже рубаха-то красная, и тоже, должно быть, из эфтих,— раздумывал вслух дворник, которого я сшиб на мостовую.

— А ты кто будешь? Откуда? — спросил квартальный.

Тогда я только понял ужас моего положения и молчал.

— Тащи его в часть, там узнаем,— приказал квартальный, рассматривая отобранные у меня чужие бумаги.

— Да это прокламации! Тащи его, дьявола!.. Мы тебе там покажем! Из той же партии, что бежавший!

Половина толпы бросилась за убежавшим, а меня повели в участок. Я решил молчать и дождаться случая бежать. Объявлять свое имя я не хотел, хоть на виселицу!

На улице меня провожала толпа. В первый раз в жизни я был зол на всех — перегрыз бы горло, разбросал и убежал. На все вопросы городовых я молчал. Они вели меня под руки, и я не сопротивлялся.

Огромное здание полицейского управления с высоченной каланчой. Меня ввели в пустую канцелярию. По случаю воскресного дня никого не было, но появился коротенький квартальный и какой-то ярыга с гусиным пером за ухом.

— Ты кто такой? А? — обратился ко мне квартальный.

— Прежде напой, накорми, а потом спрашивай,— весело ответил я.

28987
Сталинградская обл. библиотека им. М. Горького

В это время вбежал квартальный, который меня арестовал, и спросил:

— Полицмейстер здесь? Доложите, по важному делу... Государственный преступник!

Квартальные пошептались, и один из них пошел налево в дверь, а меня обыскали, взяли кошелек с деньгами, бумаг у меня, конечно, не было никаких.

Из двери вышел бравый полковник с бакенбардами.

— Вот этот самый, ваше высокобродие!

— А вы кто такой? — очень вежливо обратился ко мне полковник. Но тут подскочил квартальный:

— Я уже спрашивал, да отвечает: прежде, мол, накорми, потом спрашивай!

Полковник улыбнулся.

— Конечно, на Руси такой обычай у добрых людей есть,— сказал я, уже успокоившись.

Ведь рисковал я только головой, а она недорога была мне, лишь бы отца не подвести.

— Совершенно верно! Я понимаю это, и понимаю, что вы не хотите говорить при всех. Пожалуйте в кабинет!

Спустились, окруженные полицейскими, этажом ниже и вошли в кабинет. Налево стоял огромный медведь и держал поднос с визитными карточками. Я остановился и залюбовался.

— Хорош?

— Да пудов на шестнадцать!

— Совершенно верно. Сам убил, шестнадцать пудов. А вы охотник? Где же охотились?

Светская беседа продолжалась.

— В Сибири охотились?

— Нет!

— А где же?

— Все равно, полковник, я имени своего не скажу, и кто я и откуда, вы не узнаете. Я решил, что мне оправдаться уже нельзя.

— Почему же? Ведь вы ни в чем не обвиняетесь, вас задержали случайно, и вы являетесь как свидетель, не более.

— Извольте, я бежал из дома и не желаю, чтобы мои родители знали, где я и, наконец, что я попал в полицию. Вы на моем месте поступили бы, уверен я, так же, так как не хотели бы беспокоить отца и мать.

— Вы, пожалуй, правы. Мы еще поговорим, а пока закусим. Вы непрочь выпить рюмку водки?

Подали прекрасный завтрак.

— Пожалте! — пригласил он меня барским жестом и добавил: — Сейчас еще один мой родственник придет, гостит у меня проездом здесь.

Не успел полковник налить мне первую рюмку, как вошел полковник-жандарм, звеня шпорами. Седая голова, черные усы, черные брови, золотое пенсне. Полицмейстер пробормотал какую-то фамилию, а меня представил так:

— Охотник-медвежатник.

— Очень приятно, молодой человек.

И сел. Я сообразил, что меня приняли за очень важную птицу, и решил поддержать это положение.

Пили, ели, разговаривали.

Я пил во-всю, но не сказал ни одного лишнего слова.

Полковники замолчали. Я хотел вывести их из этого молчания.

— Теперь, полковник, вы меня напоили и накормили, так уже, по доброму русскому обычаю, спать уложите, а там завтра уж и спрашивайте. Сегодня я уже отвечать не буду. Сыт, пьян и спать хочу...

По лицу полицмейстера пробежала тучка и на лице блеснули морщинки недовольства, а жандарм спросил:

— Вы сами откуда?

— Приезжий, как и вы здесь, и, как и вы сейчас, гость полковника, а через несколько минут буду арестантом. И больше я вам ничего не скажу!

У жандарма заходила нижняя челюсть, будто он грозил меня изжевать.

Потом он быстро встал и сказал:

— Коля, я к тебе пойду,— и, поклонившись, злой походкой, пошел во внутренние покои.

Полицмейстер вышел за ним.

Я взял из салатника столовую ложку, свернул ее штопором и сунул под салфетку.

— Извините,— сказал, возвратясь и сев за стол, полицмейстер.— Я вижу в вас безусловно человека хорошего общества, почему-то скрывающего свое имя. И скажу вам откровенно, что вы подозреваетесь в серьезном... не скажу преступлении, но... вот у вас прокламации оказались. Вы мне очень нравитесь, но я — власть исполнительная... Конечно, вы догадались, что все будет зависеть от жандармского полковника...

— Который, кажется, рассердился, не выдержал до конца своей роли...

— Да, он человек нервный, ранен в голову... И завтра вам придется говорить с ним, а сегодня я принужден продержать вас до утра,— извините уж, это распоряжение полковника,— под стражей.

— Я чувствую это, полковник, благодарю вас за милое отношение ко мне и извиняюсь, что я не скажу своего имени, хоть повесьте меня.

Я встал и поклонился. Опять явился квартальный, и величественный жест полковника показал квартальному, что ему делать.

Полковник сухо поклонился, не подав мне руки. Проходя мимо медведя, я погладил его по огромной лапе и сказал:

— Думал ли, Мишка, что в полицию попадешь!

Мне отдали шапку и повели куда-то наверх, на чердак.

Я вошел. Дверь заперлась, лязгнул замок, щелкнул ключ.

... После треволнений и сытного завтрака мне прежде всего хотелось спать, и ровно ничего больше.

«Утро вечера мудренее»,— подумал я засыпая.

Проснулся ночью. Прямо в окно светила полная луна. Встал. Хочется пить. Подтягиваюсь к окну. Рамы нет, только решетки, две поперечные и две продольные — из ржавых железных прутьев. Я встал на колени на нечто вроде подоконника и просунул голову в широкое отверстие. Вдали Волга. Пароход где-то просвистал...

Короче: выломал я железные прутья, отогнул решетку, вылез на крышу. Сползаю по лестнице, она поросла мхом от старости. Смотрю вниз. Ворота открыты...

Пожарный-дежурный на скамейке, и храп его ясно слышен.

Прохожу мимо пожарного и важно шагаю по улице. Жажда мучит. Вспоминаю, что у меня отобрали деньги. И, вот чудо: подле тротуара что-то блестит. Вижу маленький дамский перламутровый кошелек. Поднимаю, а в нем два двугривенных и белая бумажка — двадцатипятирублевка.

Купил билет на пароход до Астрахани. А там опять рыбные ватаги, жизнь в зимовнике.

Хорошо мне там жилось у старого казака Гаврилы Рафыча Подкопаева. Обжился я в зимовнике и полюбил степь больше всего — должно быть, дедовская кровь сказалась.

Сам старик и его жена были почти безграмотны, в доме не водилось никаких журналов, газет и книг, даже конно-заводских. Даже ветеринаров не хотел признавать старик и лечил лошадей сам да его главный помощник, калмык. Лошади были великолепные и шли нарасхват даже в гвардейские полки. Меня любил за удаль, за знание лошади, за разные выкрутасы, джигитовки и вольтижировки и за то, что я сразу постиг объездку «неуков» и ловко владел арканом.

Хозяин меня ценил еще за то, что при осмотре лошадей офицерами, говорившими между собой по-французски, я переводил их оценку лошадей, что, конечно, давало барыш.

Ну, какому же чорту, не то что гвардейскому офицеру, придет на ум, что черный, пропахший лошадиным потом, с заскорузлыми руками табунщик понимает по-французски!

Хорошо мне жилось, никуда даже не тянуло отсюда, так хорошо!

Но всему бывает конец...

Однажды вдали по степи вдруг заклубилась пыль. Показалась коляска, запряженная четверкой. Значит, покупатели. Я наскоро оделся в лучшее платье, надел легкие козловые сапоги—и обмер. Коляска подкатывала к крыльцу, в коляске молодой офицер в белой гвардейской фуражке, а рядом с ним,— незабвенная фигура — жандармский полковник с седой головой, черными усами и над черными бровями знакомое золотое пенсне на носу горит на солнце...

Сверкнула передо мною казанская история вплоть до медведя с визитными карточками.

И пока встречали гостей, пока носили чемоданы, я схватил свитку, вынул из стола деньги — рублей сто скопилось от жалованья и чаевых за показ лошадей,— нырнул из окошка в сад, а потом скрылся в камышах и зашагал по бережку в степь...

... Убежав из зимовника, я добрался до Ростова. Там шум и суета: цирк уезжал в Воронеж. Вели лошадей. Встретил знакомых по моей прежней работе в цирке. Меня радостно приняли в труппу.

Из Воронежа поехали в Саратов на зимний сезон. В Тамбове я случайно опоздал на поезд, пришлось ждать следующего дня...

Опять началась новая жизнь. Я попал в театр...

ЛЮДИ ТЕАТРА

Повесть актерской жизни

ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ

ВАСЯ

«Тамбов на карте генеральной кружком означен не всегда». Эти строки Лермонтова я вспомнил осенью 1875 года в приемной антрепренера театра, в большой комнате с деревянными диванами и стульями.

На стене висела наклеенная на серый коленкор, засиженная мухами карта России, по которой, от скуки ожидания, я и путешествовал пальцем между надписями «Воронеж», «Саратов», «Козлов» и все никак не находил Тамбова: его не было. Там, где, по моим знаниям, он должен был находиться, красовался сделанный порыжелыми чернилами треугольник, через который проходили линии железной дороги на Саратов и Рязань.

Наверху карты стояла размашистая подпись: «Михаил Докучаев ушел в Москву в Ильин день».

Вернулся мой путешествующий по карте палец из Рыбинска в Ярославль. Вспомнились ужасы белильного завода... Мысленно проехал по Волге до Каспия... В дербентские и задонские степи ткнулся, а мысль вернулась в Казань. Опять вспомнился арест, взломанная решетка, побег. И злые глаза допрашивавшего седого жандармского полковника, глядевшие на меня через золотое пенсне над черными бровями... Жутко стало, а в этот момент скрипнула дверь, и я даже вздрогнул.

Из кабинета антрепренера вышел его сын, мой новый друг, стройный юноша, мой ровесник по годам, с крупными красивыми чертами лица и волнистой темнорусой шевелюрой. Он старался правой рукой прощипнуть чуть пробивающиеся усики.

* * *

В Тамбов я попал из Воронежа с нашим цирком, ехавшим в Саратов. Цирк с лошадьми и возами обстановки грузился в товарный поезд, который должен был отойти в два часа ночи. Окончив погрузку часов около десяти вечера, я пошел в город поужинать и зашел в маленький ресторанчик Пустовалова в нижнем этаже большого кирпичного неоштукатуренного здания театра.

Подойдя к двери, я услышал шум драки. Действительно, шло побоище. Как оказалось после, пятеро базарных торговцев и соборных певчих избивали пятерых актеров, и победа была на стороне первых. Прислуга и хозяин сочувствовали актерам, но боялись подступиться к буйствующим. Особенно пугал их огромного роста косматый буян, оравший неистовым басом. Я увидел тот момент свалки, когда этот верзила схватил за горло прижатого к стене юношу, замахнулся над ним кулаком и орал: «Убью щенка!»

В один момент, поняв, в чем дело, я прыгнул, свалил с ног буяна и тем же махом двух его товарищей. Картина в один миг переменилась: прислуга бросилась на помощь актерам, и мы общими силами вытолкали хулиганов за дверь.

И пошел пир. Отбитый мною юноша, общий любимец, был сын антрепренера театра Григорьева, а с ним его друзья актеры и театральный машинист Ваня Семилетов. Хозяин ресторанчика Пустовалов поставил нам угощенье, и все благодарили меня. Часы пробили два, мой цирк уехал,— тогда только я спохватился и рассказал об этом за столом.

— Брось ты свой цирк, поступай в актеры, я попрошу отца, он тебя устроит,— уговаривал меня Григорьев.

И все остальные стали меня упрашивать.

А тут вспомнил я, что наш цирк собирался на весну в Казань, а потом в Нижний на ярмарку, а Казани, после ареста, я боялся больше всего: допрашивавший меня жандарм с золотым пенсне, с черными бровями опять вырос предо мной. Вещей в багаже осталось у меня не богато, бумаг никаких. Имени моего в цирке не знали: Алексис да Алексис, и только. Поди ищи меня!

Переночевал я на ящике из-под вина в одной из подвальных комнат театра, а утром, в восемь часов, пришел ко мне чистенький и свежий Вася Григорьев. Одет я был прилично, в высоких козловых сапогах с модными тогда медными подковами и лаковыми отворотами, новый пиджак, летнее пальто, только рубаха — синяя косоворотка.

И вот я один в приемной. Вася ушел к отцу, и тот, как оказалось, посадил его за составление афиши, почему я так долго и путешествовал указательным перстом по карте России.

Васе я назвал свою настоящую фамилию, родину, сказал, что был в гимназии и увлекся цирком, а о других похождениях ни слова. Я был совершенно спокоен, что, если буду в театре, мой отец паспорт пришлет. А Вася дал мне слово, что своего отца он уговорит принять меня.

И когда вслед за Васей показалась могучая фигура Григорьева в бухарском халате нараспашку, когда я взглянул на его полное бритое лицо,— сын на него как две капли воды был похож, те же добрые карие глаза и ласковая улыбка,— я сразу ожил.

Старик протянул мне большую мягкую руку и сказал:

— Пойдемте в столовую чай пить. Там уже собрались — все свои, а вы наш. В цирке служили?

— Да.

— Значит, вы настоящий артист... Сегодня вечером, для первого дебюта, мы вас вымажем сажей и выпустим негром. Пойдемте,— взял меня под руку, повел и представил шумевшим за чаем актерам и актрисам.

Меня встретили аплодисментами. Оказалось, что все знали вчерашнюю историю — Семилетов, Сережа Евстигнеев и Дорошка Рыбаков, участники побоища, уже за чаем все рассказали, а из меня сделали какого-то Еруслана Лазаревича.

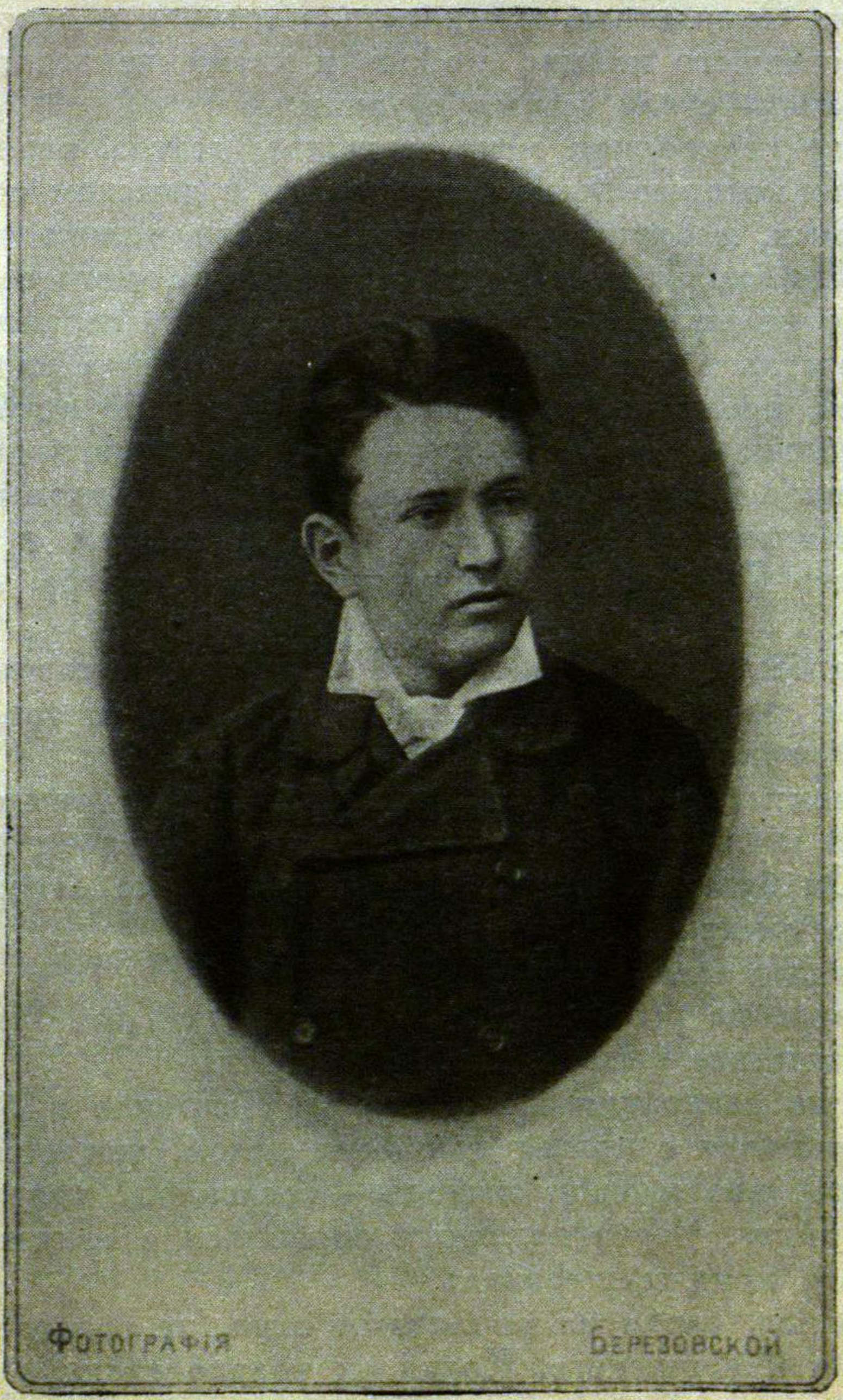
Вечером шла «Хижина дяди Тома», и я в курчавом парике, вымазанный сажей, впервые сказал мою первую фразу на сцене:

— Здравствуйте, дядя Том.

И даже не заметил, что стоявшие со мной статисты, солдаты Рязанского полка, также сказавшие, как и я, эту фразу, сняли парики из вязанки, принятые ими за шапки, раскланялись и надели их снова. Да и публика не заметила этого. Только Григорьев, игравший дядю Тома, в антракте при всех надрал ухо Васе Григорьеву, который был помощником режиссера, и сказал, чтобы в другой раз объяснял статистам, что парики — одно, а шапки — другое.

* * *

Началась моя новая счастливая жизнь, так не похожая на предшествующие приключенческие годы, но имеющая с ними что-то общее: такая же вольная, такие же простые люди окружали меня — совершенно другие по обличью, по поступкам, по взглядам, но такие же хорошие товарищи. Цирк, его «камрады», коверкавшие на иностранный лад русский язык, и иностранные женщины, с которыми я за все время сказал каких-нибудь десять слов, уже с первых дней показался мне чужим, а потом скучным. Увлекала только работа и появление перед публикой, а все остальное время пусто и нудно, все были друг другу чужими. А здесь с первого момента я сдружился со всеми, и все —



В. Г. Григорьев

от изящных артистов Песоцкого и Погонина до Ивана Ардальоныча Семилетова, машиниста, плотника и декоратора, почувствовавшего ко мне любовь и уважение после сцены в ресторане,— стали моими друзьями.

И сразу переродили меня женщины театра, вернув мне те манеры, которые были приобретены в дамском обществе двух тетенек, младших сестер моей мачехи, только что кончивших Смольный, и бабушки-сенаторши. Самого сенатора, опального вельможу, сослуживца и друга Сперанского, я уже не застал в живых. С тех пор, как я ушел от них, за шесть лет, кроме семьи коневода, я несколько дней видел близко только одну женщину — кухарку разбойничьей ватаги атамана Ваняги Орлова, да и та была глухонемая.

Пораженный и осчастливленный увиденным в театре добрейшего Григорьева, я стал человеком театра, преданным ему.

И дела было у меня немало. Григорию Ивановичу Григорьеву я понравился. На третий день он позвал меня к себе в кабинет, где был Вася, и сказал ему:

— Возьми своего друга в помощники и первым делом сделай из него сценариуса. Завтра идет «Свадьба Кречинского». Он будет следить за выходами. Пьеса легкая. Она у всех на слуху.

Он передал мне пьесу:

— Завтра на репетиции будете выпускать вы. Прочтите пьесу, запомните выхода. Вася объяснит.

Утром на репетиции и вечером на спектакле я благополучно справился с новым для меня делом, тем более, что все актеры знали свои выхода,— оставалось только следить по книге. Через неделю я справился с «Ревизором». Вася долго меня муштровал:

— Главное, следи за репликами отца, не задержи Добчинского и Бобчинского. Когда он только скажет: «Вдруг открылась дверь — и шасть», так в тот же миг выпускай их.

Сам я играл Держиморду и в костюме квартального следил за выходами. Меня выпустил Вася. Он отворил дверь и высунул меня на сцену, так что я чуть не запнулся. Загремел огромными сапожищами со шпорами и действительно рявкнул на весь театр: «Был по приказанию», за что «съел аплодисменты» и вызвал одобрительную улыбку городничего — Григорьева, зажавшего мягкой ладонью мне рот. Это была моя вторая фраза, произнесенная на сцене, в первой все-таки уже ответственной роли.

В следующем «Ревизоре», перед рождеством, я уже играл Добчинского, и эта роль осталась за мной и далее. Вася играл почтмейстера, и мы оба по очереди следили за выходами.

Работы было довольно. Ежедневно читали пьесы. Библиотека Григорьева была большая. Кроме того, на моей обязанности было выписывать, конечно, сперва под руководством Васи, костюмы и реквизит, иногда самый неожиданный.

Для какой-то обстановочной пьесы, кажется, «Лукреции Борджиа», потребовалось двенадцать гробов, и я вместе с Васей и реквизитором ездил за ними на базар в гробовую лавку.

Мы сопровождали этот груз издали по главным улицам города, чтобы все видели, что его везут в театр. За нами бежали мальчишки, и к вечеру весь город говорил об этом.

Это была великолепная реклама, которую придумал бенефициант А. И. Славин.

Высокий и грузный, вращая большими темными глазами, он завывал баритоном, переходившим в бас, с небольшой хрипотцой Кузьму Рощина, Прокопа Ляпунова и других атаманов, имея главный успех на ярмарочных спектаклях.

Здесь он недурно исполнял роли благородных отцов и окончил мирно свое земное странствие в Москве, каким-то путем попав на небольшие роли в Малый театр. Иногда

в ресторане Вельде или «Альпийской розе» он вспоминал свое прошлое, как он из бедного еврейского местечка на Волыни убежал от родителей с труппой бродячих комедиантов, где-то на ярмарке попал к Григорьеву и прижился у него на десятки лет.

* * *

В Тамбове на базарной площади, пахнувшей постоянно навозом, а в базарные дни шумной и пьяной, были лучшие тамбовские трактиры — Югова и Абакумыча. У последнего стояли два прекрасных фрейбергских бильярда, к которым и привел меня сыграть партию любитель бильярда Вася в первые дни моего приезда. Но сыграть нам не пришлось: на одном играл с каким-то баритоном в золотых очках местный домовладелец Морозов, в долгополом сюртуке и сапогах бутылками, а на другом два почтенных, кругленьких, коротеньких старичка.

Один из них, в цветном, застегнутом наглухо до седой бородки жилете, с рубахой навыпуск, нестерпимо скрипел своими сапогами — тогда была мода носить сапоги со скрипом; другой, в прекрасно сшитом черном, весьма поношенном сюртуке, неслышно двигался в черных замшевых сапожках, осторожно ступая подагрическими ногами.

Орлиный профиль, коротко подстриженные черные с проседью усы на бритом матово-смуглом лице, освещенном ласковым взглядом черных глаз, остановили на себе мое внимание. Так неожиданно было в тамбовском базарном трактире встретить такой тип.

Он стоял, опершись на кий, и улыбнулся, когда его партнер не сумел положить почти висевший над лузой желтый шар.

— Забил ты меня, князь. Прямо забил...— И старичок в сапогах со скрипом крикнул маркеру:— Федька, теплые сапоги!

В это время человек, названный князем, увидел нас.

— А, Вася! Очень рад.

Вася представил меня князю как своего друга.

— Очень рад! Значит, нам новый товарищ! — И крепко пожал мне руку.— «Vos intimes — nos intimes». «Ваши друзья — наши друзья!» Вася, заказывай вина! Икру зернистую и стерлядок сегодня Абакумыч получил. Садитесь.— Князь указал на стулья вокруг довольно большого «хозяйского» стола, на котором стояли на серебряном подносе с княжеским гербом пузатый чайник с розами и две низенькие трактирные чашечки, тоже с розами и золотым ободком внутри. На двух блюдечках лежали крупный изюм и сотовый мед.

На другой половине стола мигом явился графинчик с водкой, икра, балык, тарелки с княжескими гербами и серебряные ложки.

С Абакумыча маркер снял скрипучие сапоги и стал переобувать его в огромные серые валенки, толсто подшитые войлоком, а в это время вошел наш актер Островский, тоже пузатенький, но с лицом римского сенатора — прямо голова Юлия Цезаря!

— А... Василий Трофимович!.. Садись иди, водочку подали... икра...

— Нет, князинька, не могу... Не пью...

— Очень хорошо. Бери пример с меня: кроме чая с изюмом и медом — ничего.

— И рад бы, да не выходит! Попадет вожжа под хвост — и закручу на неделю! Вчера отпил. Вина видеть не могу!

— Ну, садись, садись!

Абакумыч переобулся. Вынул из кошелька гривенник за проигранную партию.

— На, получай. Становись, по двугривенному! Уж теперь я и взбутетеню вашу светлость! Идет по двугривенному?

— Идет!

Партнеры увлеклись. Абакумыч двигал огромные валенки и не торопился, обрадовавшись висячему, как тогда, над лузой шару. Островский закусил икры и балыка. Ему подали стакан и блюдечко малинового варенья, а нам бутылку розового кавказского вина, которое князь получил в подарок от своего друга из Озургет. Князь угощал им только лучших друзей и держал его в подвале Абакумыча, у которого и квартировал, когда подолгу живал в Тамбове. Островский был старый друг князя К. К. Имеретинского. При нем князь и попал в театр.

Этот сезон и великий пост мы провели вместе с князем в Тамбове, а через год дружески встретились с ним в Москве, в Артистическом кружке, действительным членом и даже одним из учредителей которого он состоял. Любопытный тип был светлейший князь К. К. Имеретинский.

В Кружке он также пил чаек с изюмом и медом, бывал на всех спектаклях и репетициях Кружка, на всех премьерах Малого театра, но в тот сезон сам не выступал на сцене: страдал астмой.

Из Петербурга к нему приехал его младший брат, блестящий гвардейский офицер, флигель-адъютант, придворная особа. Таким же важным лицом был прежде при царском дворе и наш князь. Оба эти светлейшие Имеретинские, как потомки грузинских царей, были особенно отличены и, по получении образования в пажеском корпусе. определены ко двору: старший, Константин, «числился» по гражданскому ведомству, а младший был выпущен в гвардию. Оба красавцы, образованные да еще «царской крови», Имеретинские могли бы занять самые высокие места, чего и достиг младший, в конце концов ставший наместником в Польше. До чего мог бы дослужиться старший, носивший уже тогда, когда еще младший был пажем, высокое придворное звание шталмейстера, трудно сказать, но...

Страстный любитель лошадей, князь поехал как-то на самую знаменитую конскую ярмарку — Коренную — и там

подружился с Василием Трофимовичем Островским, маленьким актером бродячей труппы Григорьева.

Эта ярмарка при Коренной пустыни Курской губернии еще в восьмидесятых годах поражала меня своей кипучей и пестрой суетой и необыкновенной обстановкой.

А вот какой она была в то время, когда еще при «крепостном праве» Григорьев приехал целым обозом со своей труппой перед началом ярмарки, чтобы успеть построить дощатый театр? С каким восторгом, будучи в подвыпитии, Островский рассказывал о тех счастливых днях его актерской юности в Коренной, где он в одну из ярмарок, будучи семинаристом, гостил у своего дяди, дьякона, побывал в театре Григорьева — и по окончании ярмарки уехал вместе с труппой. Через год на той же ярмарке он пел Всеслава в «Аскольдовой могиле», к великому огорчению своих родных, примирившихся с совершившимся фактом только после того, как он познакомил своего дядю с блестящим князем Имеретинским за обедом в придворном дощатом здании, выстроенном дворцовым ведомством специально для своего представителя, приехавшего покупать лошадей для царских конюшен. Когда дьякон попал на обед и увидал своего племянника в кругу аристократии, первым другом блестящего князя, дьякон и вся родня «простили заблудшего», которого до этого они мнили видеть архиереем. Все это живо и образно рисовал нам Василий Трофимович во время своих ежемесячных загулов.

Да и было что рисовать!

Сотни плотников и разного мастерового люда гремели топорами и визжали пилами. Строились вокруг постоянных ярмарочных зданий легкие дома для помещиков, приезжавших на ярмарку со своими семьями и многочисленной дворней; река Тускарь белела купальнями.

«Панские ряды» в азиатском вкусе вновь красились и отделывались, триста деревянных лавок красовались в

долине Тускари, а ларькам и счету не было. И все это кишело приезжими.

Во многих лавках в закрытых клетках пели соловьи, знаменитые курские соловьи, за которых любители платили сотни рублей. На развале — пряники, изюм, чернослив, шептала, урюк горами высились. Гармонисты, песенники, рожечники, гусляры — повсюду. Около материй толпились бабы в паневах, сарафанах и платках и модные дамы-помещицы.

Коридор и полы лавок были мягки от свежего душистого сена и травы — душистой мяты и полыни.

В панских рядах барыни отбирали целыми кучами куски материй и галантереи, и торговцы присылали их в помещичьи ставки и драли за них, сколько хотели.

Но самый центр был — конская ярмарка. Любители и коннозаводчики, десятки ремонтеров приезжали из всех гвардейских и армейских полков на эту ярмарку и безумно сорили деньгами. Все перемешалось, перепуталось: от крепостников до крепостных рабов, от артистов и музыкантов до сотен калек-нищих, слепых певцов и лирников. И все это наживало и по-своему богатело.

В первые дни на конскую ярмарку не допускались барышники и цыгане. Только когда уже налюбуются крэками заводов и накупят вдоволь помещики-коннозаводчики, навалятся и загудят барышники, захлопают бичами и заорут толпы цыган с нашпигованными разными, вплоть до скипидара и перца, снадобьями, резвыми на десять минут, взбодренными лошадками-калеками.

Насытившиеся покупками бары гуляли. Шампанское и заморские деликатесы лились реками и высились горами. Около барских ставок целый день стук ножей — десятки крепостных поваров стараются во-всю.

Рассказывал Василий Трофимович:

— Как только «Свадьба Кречинского» идет, каждый раз Коренную ярмарку вспомню... «После докучаевской треп-

ки — не жить». Ведь это там было! Это актер Мишка Докучаев там «измордовал» Расплюева и в пьесу попал... Это все так было — только фамилию автор переменил. И ему и Кречинскому. Это было еще до моего приезда на ярмарку, а когда пьеса пошла, так и дом указывали, где это было. Там происходила игра. Известно,— где ремонтеры, там и игра, где игра, там шулера... На Коренную их наезжало уйма. Мишка, сам любитель игры, и поймал этого гуся в шулерстве... С ним вместе был мой товарищ — актер Кулебякин. Мишка силен, а Кулебякин прямо богатырь... Вот они вдвоем эту шайку шулеров и расколотили. Мишка засунул Расплюева в окно, а окно было узенькое, вырубали топорами, чтобы живого вытащить.

Много рассказывал Василий Трофимович о Коренной ярмарке и о том, как он с Имеретинским подружился.

— Труппа была у нас веселая и недурная. Мы только приготовили сцену и репетировали, как приехали придворные. Конюшни их были построены недалеко от театра. Как-то на репетиции зашел молодой чиновник — это и был князинька. После репетиции пошли к нам обедать, тут же при театре. Жили мы попросту: большой стол в сенях, кухня рядом. Щи хлебали из общих чашек деревянными ложками. Помню, подали огромный противень — бараний бок с кашей. И князь с нами ест, угощали водкой — не пьет. А бараний бок ему понравился. Своего повара сейчас же прислал учиться, как его жарить. На другой день князь всей нашей труппе ответный обед закатил... Что было! И шампанское, и всяческие бламанжи, и рябчики, а посуда вся с царскими орлами, и служат нам лакеи в ливреях. Сперва молча ели, потом стали стихи читать, монологи, петь начали, а потом уж дошли до точки. А князь смеется да радуется... Пьяные подходят к нему, обнимаются, целуют по актерской привычке, а он ничего, на «ты» пили... Только он лимонад пил, вина не употреблял, упросить не могли... Нашим актрисам почтительно

ручки целовал, и никакого ухаживанья! Как с придворными дамами обращался. Потом при прощании всем подарки поднес. Качевскому пенковую трубку дорогую, и сейчас она у него. Мне серебряный кавказский пояс, Григорию Ивановичу старинную стопу — цены нет. А на другой день опять на репетицию пришел. Да и зачастил. Репетицию всю просидит в кулисе с Григорием Ивановичем, пьесы брал читать. Вечером всегда в театре в своем обществе, а за кулисы забежит. Прямо жить без нас не мог! — закончил свой рассказ Островский.

После Коренной ярмарки князь увлекся театром, бросил придворную службу, переехал в Москву и неожиданно для «высочайшего двора», с которым он порвал все отношения, стал играть в любительских кружках.

На какие-то, не особенно крупные, средства от княжеского имущества Имеретинский жил очень скромно. Он пользовался уважением и почетом среди тамбовского дворянства.

Со всеми актерами князь вел себя по-товарищески, со многими был на «ты». Звали его все «князь», но отнюдь не «ваша светлость», как звало его все тамбовское начальство. Тамбовский театр процветал, и публика относилась к нему и антрепренеру Григорьеву с особым уважением. Здесь не было провинциальных ухаживателей, подносивших подарки хорошеньким женщинам, а не хорошим артисткам, не было «шлянья» в уборные ухажеров. За кулисы проходили только настоящие любители: Сатины, Кознобишины, из которых Илья Иванович, автор нескольких пьес и член Общества драматических писателей и Московского артистического кружка, был сам прекрасный актер.

В числе немногих, почетно принятых за кулисами, был начальник восемнадцатой дивизии генерал Карцев, впоследствии, в 1877 году, прославившийся тем, что дивизия под его командой первой перешла Дунай. В литературе Карцев известен своими мемуарами. Таким же любителем

театра в Рязанском полку был и адъютант Эльснер, ставивший солдатские спектакли, для которых Григорьев давал ему костюмы. Эти спектакли всегда режиссировал кто-нибудь из наших актеров. На каждый спектакль своего театра Григорьев посылал в полк двадцать билетов на галерку и два билета в партер. Эльснер был первым офицером, получившим Георгия за то, что во главе своей роты перешел Дунай.

* * *

Как-то уже после того, как я познакомился с князем, я увидел в кабинете Григорьева прошлогоднюю афишу:

«В тамбовском театре под управлением К. К. Звездочкина в бенефис К. К. Звездочкина поставлена будет «Свадьба Кречинского». Роль Расплюева исполнит бенефициант».

Узнаю, что в прошлом году театр держал Звездочкин, известный московский любитель, и что этот Звездочкин и есть князь Имеретинский. Служить у него считалось за большое счастье: он первый повысил актерам жалованье до неслыханных дотоле размеров. Звездочкин три раза был антрепренером, неизбежно прогорал и снова жил то в Москве, то в Тамбове, где изредка выступал на сцене.

В Тамбове он останавливался у Абакумыча и был рад, когда ему удавалось «загнать Абакумыча в валеные сапоги» и выиграть у него гривенник на бильярде. Первый раз он снял театр на зиму у Григорьева, получив откуда-то наследство, которое и ухлопал в один сезон. Потом еще два наследства потерял на антрепризе: несмотря на то, что тамбовская публика охотно посещала театр, расходов не окупали даже полные сборы.

И снова театр держал Григорьев, и снова около него ютились старые друзья-актеры, приходившие если не послужить, так пожить у старого друга.

Летом, вместо того чтобы отдыхать, Григорьев играл по маленьким городишкам и ярмаркам специально для того,

чтобы прокормить своих старых друзей, много лет считавших и дом и театр Григорьева своими.

«А семья-то?.. Кто их кормить будет?.. Ведь двадцать душ, кроме тех, что придут!..»

Это был разговор только о друзьях-актерах, ядре его постоянной труппы, хотя половина их ни в одну труппу не была бы принята.

Собственно же семья у Григорьева была небольшая. Он сам, шестидесятилетний, могучий, не знающий устали старик, давно овдовел. Вторая гражданская жена его, Анна Николаевна, настолько некрасивая, что ее даже на сцену выпускать было нельзя, и дочь ее лет двадцати двух, актриса на маленькие роли, Николаева,— обе почти незаметные существа, которые вели домашнее хозяйство, были скромны, молчаливы, ни с кем не ссорились и не сплетничали.

Григорий Иванович относился к ним ласково, как и ко всем своим, которым говорил, кроме самых близких, «вы», да еще прибавлял: «с», особенно когда кого застанет в подвыпитии.

— Вы что же-с, Иван Ардальоныч? Опять-с?..

Чаще других усовещевал он Семилетова, который во хмелю был буен, но, чуть показывался Григорий Иванович, сразу же стихал, как в воду опущенный.

Однако был случай, когда Григорьев его выгнал. Напившись в ресторанчике Пустовалова, Ваня поднялся наверх, где шла репетиция. Идет, шатаясь во все стороны, и угрожающе орет, размахивая кулачищем:

— Всех расшибу я до полушки! Начну с Адамовой головы!..

Репетировали «Ревизора». Григорьев был один из самых лучших городничих, каких когда-либо я видел. Он сидел в кресле и вполголоса читал свой монолог: «Чего смеетесь? Над собой смеетесь!..»

Вдруг остановился, услыхав оранье, и голову поднял.

Я в первый и последний раз видел его таким, даже жутко стало. Все замерли, а Ванька ввалился уже на сцену и орет, никого и ничего не видя:

— Начну с Адамовой головы!..

— Нет, уж довольно-с,— как-то прошипел на весь театр Григорьев, вскочил с кресла и двинулся навстречу к Семилетову.— Довольно-с!..

И так мазнул по уху бросившегося на него с кулаком Ваньку, не узнававшего никого, что тот через рампу перелетел в оркестр и дико выл от боли, лежа между сломанными пюпитрами.

Григорий Иванович стоял и тяжело дышал, а на глазах слезы.

Все мы стали его успокаивать, усадили в кресло.

— Извините меня... В первый раз в жизни не сдержался... Ну, подумайте... За что же оскорблять женщину?.. Да еще не виноватую в том, что она такая.

После уж от Васи я узнал все. «Адамовой головой» кто-то со злости назвал Анну Николаевну, о чем до этого случая никто не знал. Действительно, бледная, с большими темными, очень глубоко сидящими добрыми глазами и с совершенно вдавленным носом, она была похожа издали на череп. Судя по лицу, можно было думать, что это результат известной болезни, но ее прекрасный голос сразу опровергал это подозрение.

И вот этот самый нос и сделал Анну Николаевну женой Григорьева. Единственная дочь небогатого воронежского торговца-вдовца, она была против воли выдана замуж через сваху за какого-то чиновника, который оказался пьяницей и бил жену нещадно, упрекая ее за то, что она не принесла ему приданого.

Когда дочке Анны Николаевны, Мане, было два года, умер ее отец, не оставивший после себя ничего, кроме долгов. Пьяный муж, озлобившись, схватил жену за косу и ударил ее лицом о печку, раздробив нос и изуродовав ли-

цо. В тот же год его самого сослали по суду в Сибирь за кражу казенных денег.

Женщина осталась с дочкой — ни вдова, ни замужняя, без куска хлеба. Это было в Воронеже, она жила в доме купца Аносова, дяди Григория Ивановича, куда последний приехал погостить. За год до этого, после рождения младшей дочери Нади, он похоронил жену. Кроме Нади, остались трехлетний Вася и пятилетняя Соня.

В семье дяди Григорий Иванович встретился с несчастной Анной Николаевной, которую с ее пятилетней дочкой приютили Аносовы — сами люди очень небогатые. Григорий Иванович предложил ей место воспитательницы своих детей и увез ее в Тамбов. Выбор оказался прекрасным. Анна Николаевна воспитала детей вместе со своей дочкой. Ее любимицей была старшая Соня, в полном смысле красавица, с великолепным голосом, который музыкальная мачеха, хорошая певица, развила в ней сама, и маленькая девочка стала вскоре в подходящих ролях выступать в театре отца, а Вася стал помощником режиссера.

Васю Григорьева никто не называл Василием Григорьевичем: Вася да Вася или Васенька, до самой его кончины уже в начале этого столетия, о которой я узнал в Москве от его друга Володи Кригера:

— Вася умер на-днях, слышал? В Козлове, от угара, на своей постели... Истопили печь, рано закрыли,— рассказывал этот бодрый, всегда веселый человек, а у самого слезы градом.

И с кем из актеров, наших общих друзей, я в тот год да и после ни встречался, все мне сообщали с печалью: Вася умер!

Фамилии даже не называли, а только: Вася. И лились воспоминания о безвременно погибшем друге — добром, сердечном человеке. Женат был Вася на младшей из артистической семьи Талановых. Супруги никогда не разлучались, и в злополучный день — служили они в Козло-

ве — жена была в театре, а он не был занят в пьесе, уснул дома, да так и не проснулся.

При воспоминании о Васе всегда передо мной встают яркие картины и типы моего первого театрального сезона в 1875 году.

Драматическая труппа была великолепная; кроме драмы, ставились оперетки и даже оперы.

Была поставлена и «Аскольдова могила». Торопку пел знаменитый в то время тенор Петруша Молодцов, а Неизвестного должен был петь Волгин-Кречетов, трагик. Так, по крайней мере, стояло в афише. Репетировали без Неизвестного. Наступил день спектакля, а на утренней репетиции Волгина-Кречетова нет.

— А как же Неизвестный? Ведь Волгин не приехал?— спрашивают Григория Ивановича.

Григорьев хитро улыбается.

— Ничего-с, репетируйте-с, Неизвестный придет-с... Он опытный, без репетиции споет.

Срепетировали без Неизвестного.

Вышли на спектакль. Гримируемся. А Волгина-Кречетова нет.

— Григорий Иванович, как же?.. Ведь Неизвестного нет... Отменим спектакль,— горячится режиссер Песоцкий.

— Он у меня-с остановился... Гримируется в моем кабинете. Волгин не приехал, так я другого пригласил.

— Анонсировать надо?

— Зачем же-с! Волгина здесь не знают, ну, за Волгина и сойдет-с. Это знаменитость, известный Неизвестный. Да вот он! Позвольте познакомить.

Перед нами стоял редкой красоты гигант с небольшой темной бородой и вьющимися кудрями по плечам. Шитый красный кафтан, накинутый на одно плечо, синий суконный охобень еще более увеличивали и без того огромную стройную фигуру.

Все мы так и ахнули,— что за сила, что за красота!

Театр был полон. Появление красавца Неизвестного вызвало шумные аплодисменты, а после первой арии театр дрожал и гудел. Во время арии случился курьез, который во всякое другое время вызвал бы хохот, но прекрасно пропетая ария захватила публику, и никто не обратил внимания на то, что «по волнам Днепра» в глубине сцены, «яко по суху», разгуливали две белые кошки.

Дня за три до «Аскольдовой могилы» ставилась в первый раз какая-то обстановочная пьеса, и на утренней репетиции к Васе подошел реквизитор Гольдберг за приказаниями. Вася, только что вернувшись из трактира Абакумыча, был навеселе и, вместе с нужными для спектакля вещами, шутки ради выписал двенадцать белых кошек. Перед началом спектакля явился в режиссерскую Гольдберг.

— Василий Григорьевич, чисто белых только девять, а три с пятнышками.

— Что такое?

— Кошки. Вот ваша записка: «Двенадцать белых кошек». Ну, так во всем Тамбове только девять чисто белых оказалось... И то две кошки у просвирни взял, по рублю залогу оставил.

— Тащи их сюда.

Вася рассказал окружающим, как он пошутил, выписав кошек.

Явился Гольдберг с мешком. Мяуканье, визг!..

— Развязывай!

Вася схватил мешок и вытряхнул кошек. Те стаей бросились на сцену и довели до обморока какую-то актрису.

Гольдберг рвал на себе седые волосы, ругался. В два дня он переловил с помощью рабочих семь кошек, а пять так и остались жить в театре.

И вот две такие кошки путешествовали «по Днепру» в «Аскольдовой могиле».

* * *

С громадным успехом прошла опера благодаря Неизвестному и Торопке.

Занавес, после долгих вызовов, опустился, и Неизвестный ушел наверх, в квартиру антрепренера, заинтриговав всех.

— Кто? Кто? — только и разговоров было.

Мне раньше других пришлось узнать Неизвестного.

После спектакля я уснул на ящиках из-под вина, покрытых буркой, которые заменяли мне кровать.

Вдруг сквозь сон слышу в коридоре голосище Неизвестного:

Скоро полночь — час ужасный,
А Всеслава нет, как нет.

И сразу свет хлестнул в глаза.

— А вот и мы пришли,— загремел надо мною бас на мотив Аяксов из «Елены Прекрасной».

Предо мной стоял Вася с лампой, В. Т. Островский, Петя Молодцов с водкой, старый актер А. Д. Казаков с блюдом хлеба и огурцами и с колбасой в руках и Неизвестный в... лиловой рясе.

Кое-как все уселись и начали пить.

Неизвестный оказался дьяконом из соседнего города. Он знал на-зубок много опер, потому что ранее учился в Москве в семинарии, был певчим в архиерейском хоре и одновременно хористом в театре.

— Утром ангелов представлял, а ночью дьяволов изображал,— пояснил он.

Для него Григорьев и «Аскольдову могилу» ставил, а для Григорьева, по старой дружбе, дьякон рискнул сыграть.

Про этого дьякона мне пришлось слышать немало анекдотов. Скорее светский человек, чем духовный, «душа общества», он был веселый собеседник, любил посещать театры, пользуясь возможностью, благодаря знакомству с артистами, бывать за кулисами.

Раз он в своем городе попал в маскарад. Но широкое домино не скрыло его богатырской фигуры. Его узнали и окружили в маскараде; дамы наперерыв говорили одно и то же:

— А мы тебя, маска, знаем.

— Ну, а знаете, скажите.

— Отец дьякон.

Встал отец дьякон в позу и на весь зал рявкнул в ответ:

— Чуют правду.

* * *

В пачке запыленных афиш, висевших на стене комнаты В. Т. Островского, я увидал старую тамбовскую афишу: «Птички певчие» — бенефис А. Д. Давыдова. Роль Периколы исполнит С. Г. Бороздина».

— Это кто? — спросил я.

Островский поднялся со стула и разорвал афишу.

— Хорошо, что ты нашел ее. А то увидал бы Григорий Иваныч — беда... Не вздумай упомянуть при нем имя Сашки Давыдова да и Сони.

И рассказал мне тайну семьи Григорьевых.

С детства Сонечка, старшая дочь Григория Ивановича, играла на сцене. Однажды она выступила в роли Периколы в «Птичках певчих» вместе с приглашенным в труппу молодым, но уже известным Давыдовым. Успех ее был огромный. Оперетка тогда только начала входить в моду, а такой молодой Периколы, Булоты и Прекрасной Елены тамбовская публика не видала. Лучшего Париса, Пикколло и Рауля — Синей Бороды не было тогда ни в одном театре. О Давыдове и Бороздиной — так отец назвал свою Соню в честь знаменитой артистки — даже в столичной печати заговорили. Но не на радость все это было Григорьеву.

Картежник и гуляка, Давыдов был известен своими любовными похождениями. Соня, как и надо было ожи-

дать, безумно влюбилась в него, и молодые люди тайно сошлись. На первой неделе поста дочь вдруг заявила отцу, что она уезжает с Давыдовым, и, несмотря на слезы и просьбы стариков, уехала.

Портреты дочери исчезли из кабинета отца. Все афиши с ее именем были сожжены.

— У меня-с одна дочь, Наденька, и она никогда не будет на сцене-с,— говаривал старик, продолжая свое театральное дело.

В семье имя Сони не упоминалось, а слава Бороздиной росла, и росли также слухи, что Давыдов дурно обращается с ней, чуть ли даже не бьет. Дурные вести получились в труппе, и, наконец, узнали, что Давыдов бросил Бороздину, променяв ее после большого карточного проигрыша на богатую купчиху, которая заплатила его долги, поставив условием, чтоб он разошелся с артисткой.

И тут же новый слух, еще более ужасный:

— Соня сошлась с Тамарой.

Это был второстепенный актер, игравший первые роли в разных южных городках, но более известный как аферист, игрок и сутенер.

Соня отвергала всех, с кем знакомил ее Тамара, за что он и бил ее смертным боем. Все это доходило до Тамбова, а может быть, и до Григория Ивановича. Он и слова не говорил и только заставил Надю поклясться, что она никогда не пойдет на сцену.

И сдержала Надя свое слово, но все же театра не миновала. Вскоре она вышла замуж за режиссера Владыкина, прекрасного, образованного человека, который исполнил завещание Григорьева и ни разу не выпустил свою жену на сцену. Да и некогда ей было: с первого же года пошли дети, и вся она отдалась воспитанию их. Уже через много лет, проезжая через Киев, я был в театре Н. Н. Соловцова, который меня и познакомил со своим режиссером Владыкиным. Он произвел на меня прекрас-

ное впечатление. Владыкин меня очень звал посетить его дом.

— Как вам будет рада Надя! Когда приезжает к нам в гости Вася, то у них только и разговора, что о вас, так что заглазно мы хорошо и давно знакомы.

Но с утренним поездом я должен был уехать в Москву, и не пришлось мне повидать Надю.

* * *

Вася Григорьев весь жил театром, никогда не стремился к славе, не искал ролей, играл добросовестно все, что ему давали. Удавались ему роли простаков и вторые в опереттах. Голос был небольшой, весьма приятный тенор, пел, когда, как говорится, разойдется, под гитару, без устали. Самой любимой его была песня казанских и харьковских студентов «Избушка», которую выучил его петь Селиванов, бывший харьковский студент, потом известный драматический актер конца семидесятых годов. Еще будучи совсем молодым, он имел большой успех в провинции, особенно в Харькове, Киеве, Одессе и Воронеже,— учащаяся молодежь его «обожала». В Воронеже, где Вася гостил у своего дяди — деревенского мельника, он и познакомился с Селивановым. Тимоша (Селиванов) тогда был еще гимназистом последних классов, проводил каникулы у сельского учителя в соседнем селе, откуда ходил на мельницу ловить рыбу. Тут они и подружились. Вася пел арии из оперетт, а у своего друга выучил «Избушку», которая на всю жизнь и осталась любимой песней Васи. У него же он выучился петь «Дубинушку» и по секрету, мне одному, наедине, шопотом напевал строчки:

Вырежем мы в заповедных лесах
На барскую спину дубину...

Впоследствии Селиванов, уже будучи в славе, на московском съезде сценических деятелей в 1886 году произнес

с огромным успехом речь о положении провинциальных актеров. Только из-за этого смелого, по тогдашнему времени, выступления он не был принят в Малый театр, где ему был уже назначен дебют, кажется, в Чацком. Селиванову отказали в дебюте после его речей:

— Политику в императорских театрах разводить нельзя-с!

И с тех пор Селиванов окончательно застрял в провинции, охранка запретила ему въезд в Москву, а там и слухи о нем пропали. Вася получал от него приветствия через знакомых актеров и сам посылал их с теми, кто ехал служить в тот город, где был Селиванов, а потом следы его потерялись.

ПЕШКОМ ПО ШПАЛАМ

На первой неделе поста труппа дружески рассталась с Григорьевым, и половина ее «на слово» порешила служить у него следующую зиму. Контрактов у Григорьева никаких не полагалось, никаких условий не предлагалось. Как-то еще до меня один режиссер хотел вывесить печатные правила, которые привез с собой. Григорий Иванович прочитал их и ответил:

— Силой мил не будешь! Спрячьте-с!

Почти все поехали в Москву на великопостный актерский съезд, а «свои» — семья старых друзей-актеров — остались, и тут же была составлена маленькая труппа из десяти человек, с которой Григорьев обыкновенно ездил по ярмаркам и маленьким городкам. Для таких выездов была, кроме гардероба и обстановки, особая библиотека из ходовых пьес, очень умно сокращенных. По этой библиотеке все отобранные для нее пьесы, даже такие, как «Гамлет», «Ревизор» и «Разбойники» Шиллера, могли

играть десять актеров. Все эти пьесы оставшейся труппой, кроме меня, новичка, были играны-переиграны и шли гладко, почти без суфлера.

Из новых актеров попал в нашу труппу Изорин.

Князь Имеретинский тоже уехал на великий пост в Москву. Абакумыч постом за грех считал всякую игру, и прекрасный фрейбергский бильярд, единственный в то время во всем Тамбове, с резиновыми бортами и на грифельной доске, пустовал. Мы с Васей весь вечер до самого закрытия трактира, пахнувшего постным маслом, играли пустые партии и за это время так изощрили свое искусство, что домовладелец Василий Морозов и его друг, барин в золотых очках, Николай Назарыч, мне проигрывали партии «так на так». Через несколько лет я уже в Москве узнал, что это были крупные шулера. Первый в игрецком мире носил кличку Василь Морозыч Темный, а второй — Николай Назарыч Расплюев, но не тот, с которого писал Сухово-Кобылин.

Вечера с Васей мы проводили за бильярдом, а весь день с утра читали, не выходя из библиотеки. До григорьевской библиотеки, со времени гимназии, я ни одной книги в руки не брал и теперь читал без передышки. Пьяная компания перевелась. Евстигнеев опять поступил на телеграф, Дорошка Рыбаков женился на актрисе Орловой и с ней вошел в состав нашей летней труппы. Оба крошечного роста, невзрачные и удивительно скромные и благовоспитанные. Рассказывали, что, когда их венчали, священник сказал им вместо поучения:

— Любите друг друга, памятуя неукоснительно, что отдельно ни того, ни другого никто не полюбит!

Главный же закоперщик наших пьяных компаний, Семилетов, совершенно изменился после скандала с «Адамовой головой».

Изгнанный из театра перед уходом на донские гирла, где отец и братья его были рыбаками, Семилетов пришел

к Анне Николаевне, бросился в ноги и стал просить прощенья. На эту сцену случайно вошел Григорьев, произошло объяснение, закончившееся тем, что Григорьев простил его. Ваня поклялся, что никогда в жизни ни капли хмельного не выпьет. И сдержал свое слово: пока жив был Григорий Иванович, он служил у него в театре.

Летний сезон у нас распределялся по трем городам. На пасху мы выехали в Борисоглебск по приглашению купца Иванова, скотопромышленника, выстроившего самый большой в городе дом — гостиницу с номерами — и в нем хорошенькую небольшую сцену.

Он часто наезжал в Тамбов то в театр, то на бега, где у него бежали лошади его завода, которых он сам выезжал. Это был высокий молодой человек в собольей поддевке и такой же шапке, совсем удалой добрый молодец, единственный сын старообрядки-богачки. Тайком от матери он тратил деньги на театр, а так как деньги были на отчете, то театральные расходы он переводил на конскую охоту, которая ему не воспрещалась. Иванов показывал счет на двенадцать тысяч рублей, из которых ему было нужно две тысячи передать Григорьеву за наши спектакли. Вася этот счет списал для памяти:

«Расходы по охоте

Ездовые рукавицы с лесктрическими пробками для резвости на приз по 100 рублей, 6 пар — 600 рублей.

Копытная мазь из крокодилового нутра для твердости из Парижа и Лондона — 300 рублей.

Наглазники, чтобы лошади не бесились и не пугались, на 12 лошадей, по 20 рублей — 240 рублей.

Беговые дрожки из Москвы от Арбатского и разная сбруя — 2 550 рублей и т. д. и т. д.

Весь счет на сумму 12 528 рублей».

О театре — ни слова, а это ему вскочило в копеечку. Вся труппа жила в его новой гостинице — прекрасной, как

в большом городе. Квартира и содержание всей труппы шли за счет Иванова. Все проходило по секрету от матери, безвыездно жившей в своем имении в окружении старообрядческих начетчиков и разных стариц, которых сын ублажал подарками, чтоб они не сплетничали матери о его забавах.

Сыграли мы десять спектаклей, и накануне отъезда Иванов дал прощальный обед, на котором присутствовали местные дворяне со своим предводителем.

Особый успех это время имел Изорин — новый актер в нашей труппе. Однажды в Тамбове Илья Иванович Ознобишин привел на репетицию изящного мужчину средних лет с проседью на висках и с белыми ниточками в красивых, выхоленных, коротко подстриженных усах. Накануне внезапно заболел, простудившись, Песоцкий, который должен был играть Жоржа д'Орси, француза, в комедии «Гувернер». Узнав о болезни Песоцкого, Ознобишин обещал доставить на другой день актера, который мог бы заменить Песоцкого, прекрасно игравшего эту роль.

Манеры, фигура, изящный французский выговор, знание роли нового актера поразили нас всех. На второй день масленицы ставили «Дон Сезара де Базан». На афише было объявлено, что заглавную роль исполнит Н. П. Изорин, выступавший в ней в Париже. Успех огромнейший. Я видел лучших актеров в этой роли, от Далматова до Петипа включительно, и все-таки считаю Изорина наилучшим, и Гувернера лучшего я тоже никогда не видывал. Впрочем, помню прекрасного Гувернера, которого я видел в 1876 году в Московском артистическом кружке,— это был тоже не профессиональный актер, а любитель. Фамилия его была Беляй.

На масленице Изорин выступал еще два раза в Карле Мооре. Когда в Тамбове кончился сезон, на прощальном ужине отъезжавшие на московский съезд предложили Изорину ехать с ними в Москву, где, по их словам, не только

все антрепренеры с руками оторвут, но и Малый театр постарается его захватить.

Изорин встал, красивым жестом поднял бокал и сказал, что, пока Малый театр будет стараться его захватить, его успеют захватить другие, чего ему очень и очень не хочется...

— Рад бы в рай, да грехи не пускают,— ведь я из тех, кому запрещено «на выстрел подъезжать к столице»!

И обратился к Григорьеву:

— А вот если Григорий Иваныч возьмет меня на лето с собой в Моршанск, там я полноправный гражданин.

* * *

В Тамбове Изорин появился перед масленицей, мирно проживал у своего друга, стараясь меньше показываться в «высшем» обществе, где были у него и друзья и враги. Но враги не личные, а по политическим взглядам.

Последние, из старых крепостников, называли его якобинцем, а чиновники, имевшие от правительства по службе секретные циркуляры, знали, что дворянину Николаю Петровичу Вышеславцеву, высланному из Парижа за участие в Коммуне в 1871 году, воспрещается министром внутренних дел проживание в столицах и губернских городах по всей Российской империи.

В Париже Н. П. Вышеславцев прожил в течение нескольких лет свое состояние и впоследствии был привлечен за участие в Коммуне, но, как русский дворянин известной фамилии, не был расстрелян, а только выслан. Когда он явился в Россию без гроша денег, родственники-помещики отшатнулись от «якобинца», и он проживал у своих друзей по их имениям.

* * *

Моршанск в то время был небольшим городком, известным хлебной торговлей; в нем жило много богатых

купцов, среди которых были и миллионеры, как, например, скопцы Плотицыны. Подъезжающих к Моршанску встречали сотни ветряных мельниц, машущих крыльями день и ночь. Внутри города, по реке Цне, стояла когда-то громадная водяная «Кутайсовская» мельница со столетней плотиной, под которой был глубокий омут, и в нем водились огромнейшие сомы.

На берегу Цны, как раз против омута, в старинном барском саду, тогда уже перешедшем к одному из купцов-миллионеров, находился наш летний театр. Около театра, между фруктовыми деревьями, стоял обширный двухэтажный дом, окруженный террасами, куда выходили комнаты, отведенные труппе. Женатые имели отдельные комнаты на верхнем этаже, холостые помещались по-двое и по-трое. Там же, рядом с квартирой семьи Григорьева, была и большая столовая, но обедали мы больше на широкой террасе, примыкавшей к столовой.

Обед подавался ровно в два часа, после репетиции. Все садились за общий стол — на одной половине семейные, на другой холостяки. У некоторых отдельные тарелки, свои серебряные ложки, а мы хлебали из общих чашек, куда крошили мясо, и брали его деревянными ложками только тогда, когда до дна кончали первую подачу щей и нам подливали вторую. На второе давали всякое жаркое: то целый баран на двух противнях, то телячья нога, то гусь с картошкой или индюшка. По воскресеньям обязательно бывали пироги. Всем хозяйством заведывали Анна Николаевна и Надя, в свободное время варившие в саду на жаровнях огромное количество варенья на зиму.

Труппа все время пополнялась. Приходили из разных городов безвестные актеры.

— Григорий Иваныч, я к тебе,— заявляется «благородный отец» Никонов.

Или слышен голос комической старухи Бессоновой, знакомой Анны Николаевны:

— Мой-то мерзавец от меня с хористкой бежал!.. И гардероб весь она увезла, подлюга!

— Ступай наверх, сейчас обедать будем, или к Семилетову, он комнату укажет,— говорил Григорий Иванович Никонову.

— Бедная Марья Егоровна! Ах, он негодяй! Пойдем варенье варить!

Обнимутся, расцелуются.

Сборы были недурные. Особым успехом пользовался Изорин и, как всегда, Григорьев. Вася играл певучих простаков и водевили с молоденькой актрисой Ермиловой. Труппа была трезвая; разве только иногда Изорин «нарежется» дорогими винами — водки он не пил. Григорьев не давал ему денег на руки, а пару платья и пальто, сшитые у лучшего портного, выдали Изорину в счет жалованья, да неудачно: получил он платье в «запойную полосу», тут же его продал и приехал в сад из города с корзиной коньяку «Финь-Шампань» и бутылками шамбертена.

Так без пальто и проходил Изорин весь сезон, появляясь в своем заграничном плаще, ночью служившем ему одеялом, и в поношенной уже чесучевой паре, которую часто отдавал в стирку, а пока стирали, ходил на репетиции, эффектно задрапировавшись в тот же плащ. Наконец, Григорьев сам привез ему от портного казинетовые штаны и пиджак.

Приехал еще Львов-Дитю и привез с собой Соню. Он нашел ее в самом несчастном положении в Липецке, в гостинице, где ее бросил Тамара, обобрав у нее даже последние кольца. Она была совершенно больна, и только хозяин гостиницы, друг Григорьева, кормил, лечил ее и предлагал денег, чтобы доехать до Тамбова.

В это время Львов узнал о ее положении и поспешил к ней. Соня обрадовалась ему, как родному, и, узнав, что отец с труппой в Моршанске и что в Тамбове, кроме

дворника Кузьмы с собакой Леберкой, в театре никого нет, решила поехать к отцу по совету Львова. Он проводил ее,— Соня была слаба и кашляла кровью.

Как-то в шесть часов утра Вася разбудил меня и рассказал, что Соня приехала безнадежно больная. Ее поместили в маленьком павильончике, где жили супруги Казаковы, а их перевели к нам в дом. Но и в этом уютном павильончике больной было неспокойно: с шести вечера до двух ночи гремел на эстраде военный оркестр вперемежку с разными рожечниками, гармонистами и другими шумными аттракционами. Григорий Иванович решил поместить Соню под Тамбовом, в имении своего друга доктора, но без себя не решался отпустить дочь в дорогу, а отъезд его срывал весь репертуар, державшийся отчасти и на нем.

Этот вопрос решила открытка Семилетова из Кирсанова: «Театр в порядке, освещение налажено, оркестр для антрактов имеется, квартиры для актеров приготовлены, афиши расклеены».

Сезон закончили с адресом Григорьеву от публики и подарками кое-кому из актеров. Григорьев с семьей, Казаковы и Львов-Дитю, который вынес Сонечку на руках в экипаж, выехали вечером, а мы, чтобы не обращать на себя внимания жителей, отправились в ночь до солнечного восхода. Не хотели разочаровать публику, еще вчера любовавшуюся блестящими грандами, лордами, маркизами и рыцарями, еще вчера поднесшую десятирублевый серебряный портсигар с надписью: «Великолепному Н. П. Изорину от благодарного Моршанска».

Миновав глухими, сонными улицами уже шумевший базар, проследовала наша телега, на которой сидели три дамы: хорошенькая Ермилова, куколка Рыбакова, ворчунья Бессонова, и величественный, в золотых очках, Качевский — за кучера. А кругом мы — кто как, кто в чем... Миновав благополучно городскую заставу, от которой

остался еще один раскрашенный угольниками казенный столб бывшего шлагбаума, мы двинулись по степи, оживленной свистом тушканчиков. На утреннем ветерке мельницы там и тут, по всему горизонту, махали крыльями: большие, шатровые мельницы и маленькие избушки на курьих ножках с торчащим вбок воротом, которым мельник, весь в муке, подлаживал крылья под ветер. Навстречу нам тащились телеги с зерном. Возчики, мужики в серых понитках сверх домотканных рубах, снимали картузы или шляпы-гречушники и отвешивали поклоны. Долго стояли они, пораженные величием Изорина в шляпе Карла Моора с огромными полями и осанкой высокого юноши Белова, важничавшего перед встречными своей красно-желтой кофтой из блестящей парчи, в которой еще на-днях Бессонова играла сваху в «Русской свадьбе». На голове у него была, тоже из реквизита, фуражка с красным околышем и кокардой, которую могли носить только дворяне и военные. Белов был крестьянин, сын кирсановского портного, работавшего иногда на приезжих актеров. Он убежал от отца в театр и играл у нас в Моршанске маленькие рольки. Впоследствии, года через три, Белов играл в Пензе Гамлета, а пока он гордо и важно откозыривал мужикам.

Изорин сначала вынимал из поднесенного портсигара папироски «Заря», два десятка которых купил в городе, а потом где-то в деревне раздобыл махорку и до самого Кирсанова искуривал уцелевшую в кармане какую-то роль, затягиваясь с наслаждением «собачьей ножкой», и напевал вполголоса: «Allons enfants de la patrie», благо в глухой степи некому запретить ни марсельезу якобинцу, ни дворянскую фуражку сыну деревенского портного.

На наше счастье, все время погода была великолепная— ни дождей, ни обычного в то время жгучего суховея с астраханских и задонских степей. Ночи были теплые,

тихие. Спали мы вповалку, разостлав на земле палатку, которую взяли на случай дождей. Утром мы раздували костерчик, кипятили чайник, днем варили обед, благо картошка даром (рыли в полях), а вечером так же ужинали. Было у нас пшено и греча — кулеш варили с салом и ветчиной, иногда в редких деревнях покупали яйца, молоко, баранину, курицу. Когда перед отъездом мы попросили Григория Ивановича купить нам картошки (а она была пятиалтынный мера), то он сказал:

— Помилуйте-с, где же это видано, чтобы в августе картошку покупали. Ночью сами накопаете.

* * *

Ваня Семилетов нашел нам квартиры дешевые, удобные, а кто хотел — и с харчами. Сам он жил у отца Белова, которого и взял портным в театр. Некоторые актеры встали на квартиры к местным жителям, любителям драматического искусства. В Тамбов приехали Казаковы и Львов-Дитю. Григорий Иванович был у больной дочери. Его роли перешли к Львову, и он в день открытия играл городничего в «Ревизоре».

Григорий Иванович, по традиции, каждый сезон открывал обязательно «Ревизором» всюду, будь то губернский город или ярмарочный театр. Для последнего у него был особый «Ревизор», так сильно сокращенный, что труппа в десять человек играла его.

Играли по нескольку ролей каждый, все было очень хорошо. Я играл Добчинского, купца Абдулина и Держиморду, то и дело переодеваясь за кулисами. Треуголка и шпага была одна. Входившие представляться чиновники брали их поочередно. Огромный городничий повторял свою роль за суфлером, но это уже был не Качевский, его вытребовал Григорий Иванович Григорьев, а молодой прекрасный суфлер С. А. Андреев-Корсиков.

Вместо уехавшего в Тамбов Семилетова приехал новый декоратор — Яковлев-Чумак, попавший в театр из чумаков: в юности он на волах соль из Крыма возил.

Как бы то ни было, сезон закончился хорошо, труппа переехала в Тамбов, Андреев-Корсиков сманил меня в Рязань, куда получил ангажемент, и мы с ним зашагали по шпалам из Кирсанова в Рязань, ночуя под ставками снеговых щитов, сложенных избушкой, закусывали на станции всухомятку и баловались чайком у путевых сторожей.

От станций мы держались подальше, так как всех документов у нас было — по паре афиш с моим псевдонимом. Андреев-Корсиков мог указать любую фамилию на афише, так как он был безыменный суфлер. Паспортов у нас не было, а Андреев-Корсиков мог бояться всяких властей не меньше меня — недаром он сразу подружился с Изориным и распевал с ним марсельезу, которую никто кругом не понимал. Уж много после я узнал, что Андреев-Корсиков был народником и в Москве в начале семидесятых годов ютился в «Чернышах» то у Васильева-Шведевенгера, то у Мишла-Орфанова, а потом служил в Александринском театре и был выслан из Питера за хранение революционных изданий.

* * *

Шли хорошо до Тамбова, но там никого не застали — театр был заперт, и ресторан Пустовалова еще не открывался. Заняли у дворника Кузьмы два рубля и зашагали дальше по шпалам.

Я был одет в пиджак, красную рубаху и высокие сапоги. Корсиков являл жалкую фигуру в лаковых ботинках, шелковой, когда-то белой стеганой шляпе и взятой для тепла им у сердобольной или зазевавшейся кухарки ватной кацавейке с турецкими цветами. Дорогой питались желтыми огурцами у путевых сторожей, а иногда давали

нам и хлебца. Шли весело. Ночевали на воздухе. Погода стояла, на наше счастье, теплая и ясная.

Перед Ряжском начались дожди. Здесь непривычный Корсиков, окончательно лишившийся лаковых ботинок, обезножил, и мы остановились в номере и стали ходить на вокзал, чтобы устроить как-нибудь проезд до Рязани.

Хозяин, видя наши костюмы, на другой же день стал требовать деньги и уже не давал самовара, из которого мы грелись простым кипятком с черным хлебом, так как о чае-сахаре мы могли только мечтать. Корсиков днем ушел и скрылся. Я ждал его весь день.

Наконец, вечером ко мне стучат. Молчу. Слышу — посылают за полицией. Это единственно, чего я боялся, так как паспорта, как я уже говорил, никогда не имел и считал его совершенно излишним, раз я сам налицо.

На улице дождь, буря, темь непроглядная. Я открыл окно и, спустившись на руках сколько можно, спрыгнул в грязь со второго этажа — и с тех пор под этим гостеприимным кровом более не бывал.

Корсиков оказался в Рязани, куда уехал с случайно встреченным приятелем; впрочем, за это коварство я ему благодарен: он меня стеснял дорогой своей слабостью.

Весь мокрый, голодный, я вскочил на площадку отходившего товарного поезда и благополучно ехал всю ночь, только, подъезжая к станции, соскакивал на ходу, уходил вперед и, когда поезд двигался, снова садился.

Как бы то ни было, а до Рязани я добрался. Были сумерки, шел дождь. Подошвы давно износились — дошло до родительских, которые весьма и весьма страдали от несуразной рязанской мостовой.

Добрался до театра. Стучу. Заперто кругом. Стучу в первую попавшуюся дверь и слышу голос:

— Какого там дьявола леший носит?

Клянусь: ангельское пение не усладило бы так мой слух, как эта ругань.

— Семен, отпирай,— гаркнул я в ответ, услышав голос Корсикова.

— Володя, это ты? — как-то сконфуженно ответил мой Корсиков, отпирая дверь.

— Я, брат, я!

Мы вошли в уборную, где в золоченом деревянном канделябре из «Отелло» горел сальный огарок и освещал полбутылки водки, булку и колбасу. Оказалось, что Корсиков в громадном здании театра один-одинешенек. Антрепренер Воронин уехал в деревню, сторожа прогнали за пьянство.

Обменявшись рассказами о наших злоключениях, мы завалились спать. Корсиков в уборной устроил постель из пачек ролей и закрылся кацавейкой, а я завернулся в облака и море, сунул под голову крышку гроба из «Лукреции Борджиа» и уснул сном счастливого человека, достигшего своей цели.

Зажили мы во-всю. Андреев устроил меня помощником режиссера, и я, перезнакомившись со всей труппой, благополучно исполнял свою должность.

Славные в ней были люди, среди них имелись и крупные известности, как, например, Н. П. Киреев, его жена «гранд-дам» Е. Н. Николаева-Кривская, актер-поэт Н. С. Стружкин, а нередко заезжали и гастролеры из столиц. В числе последних была и служившая в Тамбове инженю Наталья Агафоновна Лебедева с мужем.

Они ехали в Москву служить в Московский артистический кружок, звали и меня с собой, обещая устроить. Впоследствии это приглашение мне очень пригодилось, а пока я остался в Рязани. Сборы были недурные, труппа хорошая, и все товарищи милые люди, кроме разве антрепренера Воронина, грубого и дерзкого человека. Театр был на имя его жены — пожилой актрисы. Фамилию ее я забыл, но помню, что она производила впечатление хорошо воспитанной женщины. Звали ее Марией Людвиговной.

И как их свела судьба! Он был здоровенный, пузатый и усатый, с курчавыми волосами, с лицом цвета мулата и солдафонскими приемами. Бывший солдат, потом театральный буфетчик и, наконец, антрепренер. Как-то в иллюстрированном издании «Хижины дяди Тома» я видел картинку с надписью: Замбо и Квимбо. Изображены на ней были два мулата с бичами в руках, и у каждого на сворке по огромному бульдогу. Морды собак походили на их хозяев, а Воронин походил на обоих этих палачей, терзавших негров.

И обращался Воронин с хористами, статистами и театральными рабочими, как Замбо и Квимбо с неграми,— затрещины сыпались направо и налево, и никто не возражал. Со мной, впрочем, он был очень вежлив, потому что Андреев, отрекомендовав меня, сказал, что я служил в цирке и был учителем гимнастики в полку, а я подтвердил это, умышленно при приветствии подав ему руку так, что он закричал от боли и, растирая пальцы, сказал:

— Что же это вы кости ломаете!

— Извините, Владимир Павлович, это я так, потихонечку.

Крупных артистов он держал в руках благодаря самому зверскому контракту, какой я когда-либо видел. В контракте было шестьдесят шесть пунктов. Целиком списываю с оригинала некоторые. Пункт 36-й: «Артисты обязаны брить усы, бороду и бакенбарды». Пункт 62-й: «Артисты не имеют права без письменного разрешения выезжать из города. Отлучаясь из своей квартиры, обязаны оставлять свой адрес, где их можно найти». Пункт 66-й: «Предпринимателю предоставляется право прекратить действие сего договора без ответственности, когда признаки беременности артистки станут заметными».

Весь контракт был сплетением юридических ухищрений, отдающих актера в руки антрепренера без всякой ответственности с его стороны.

И Воронин пользовался своей силой, редко натыкаясь на сопротивление.

Декоратором у него служил сын известного чтеца П. А. Никитина, Адам Павлович Никитин-Фабианский. Человек талантливый, остроумный и озорной. Воронинскую дерзость он долго сносил молчаливо, но в конце концов отомстил жестоко.

Для какой-то пьесы — «Орфея в аду» или «Казни безбожного» — задняя декорация изображала ад: кипели грешники в котле, черти подкладывали дрова, в середине восседал на троне сам Вельзевул со своей свитой.

На репетиции декорацию осмотрели, все любовались, а Воронин даже поблагодарил художника.

Вечером спектакль. Сбор полный. Бенефис Воронина собралась почтить вся администрация во главе с губернатором, седые баки которого выглядывали из губернаторской ложи.

Перед самым началом акта Фабианский с красками и кистью вертелся у занавеса и бросал наскоро штрихи то там, то тут. На него никто не обратил внимания. Наконец, зычный голос Воронина:

— Васенька, занавес!

Длинный, в люстриновой со сборками поддевке, какую носили старообрядцы, в смазных сапогах, молодой человек, с пробором на середине головы, бесшумно поднял занавес, и под ярким светом рампы загорелась замечательная декорация ада.

Бешеные аплодисменты. Губернатор высунулся из ложи, взглянул и спрятался. Театр гудел.

Публика увидела двух губернаторов: одного в ложе, а другого (с такими же точно баками) заседавшего на декорации на троне Вельзевула... Как живого! Рыжий, с раздвоенной бородой полицмейстер кипит в котле, а огромный курчавый дьяволище, живой портрет Воронина, подкладывает под котел дрова. В следующем котле

благообразный городской голова, а вокруг Вельзевула чиновничий и вельможный персонаж города... Кончилось это огромным скандалом. Губернатор приказал арестовать декоратора, но его не нашли, а утром узнали, что он с начала спектакля укатил из города.

Вскоре укатить из города пришлось и мне по его примеру.

Как-то во время спектакля, в последнем антракте, Воронин за кулисами так ударил хориста Клюквина, что у него кровь носом пошла. За это от меня Воронин получил здоровую пощечину. Не успев еще встать с пола, он закричал:

— Позвать пристава!

Запахло протоколом, а при этом и паспорт спросят... вообще скандал!

Я надел пальто и вышел, ни с кем не попрощавшись. Зашел домой,— жил я у певчего недалеко от театра,— заплатил три рубля за квартиру, сказал, что еду в Саратов, распрощался дружески и ушел, захватив с собою свое имущество: узелок с переменой белья. Больше ничего не было. Аркашка Счастливцев был богаче меня — у него афиши были, а у меня и этого не было: афиши с фамилией Луганского, сыгравшего Добчинского, оставил в режиссерской. Вышел и направился к вокзалу, а навстречу мне длинная знакомая фигура шагает: Василий Иванович Солодов.

— Вася, рад, что встретил тебя... Ну, прощай, я на поезд... Удирать надо!

— С чего это?.. Из-за Воронина, что ли? Мало его били. В прошлом году Рахимов колотил... В третьем Докучаев измордовал и контракт разорвал...

— За полицией послал!

— Да он сам полиции боится. Ведь приставу за хлопоты дать надо красненькую, а он за рубль удавится. Встал

после плюхи, морда распухла — и пошел. Только сказал: «Этого разбойника не пускать в театр, прямо по шее гнать».

• • •

Вася Солодов — сын богатого, но совершенно серого купца, имевшего, кажется, лесной склад. Ему было тогда около двадцати лет, и он был страстный театрал — с детства бывал всегда в театре. Это был его университет, в который он попал прямо из трехклассного народного училища, где он кончил учение первым. Отец и дед не пустили его учиться дальше, а усадили за конторку на складе, доверив ему и кассу, в которой всегда водились тысячи. Они знали, кому верили: не пьет, не курит, не играет в карты, наряжаться не любит — лучшего кассира не придумаешь. Бывало, спросит у отца пять или десять рублей на театр или книги, ответ всегда один:

— Кассыя у тебя на руках, бери, сколько надыть. Все твое да мое.

Против театра ни отец, ни мать ничего не имели. Чтобы не беспокоил их поздним возвращением, ему в доме отделили квартирку, где он и завел библиотеку.

Театр был действительно его университетом: увидел, например, Вася драму «Борис Годунов» на сцене — сейчас Пушкина купил. После «Гамлета» — Шекспира выписал, после «Разбойников» — Шиллера приобрел и читал, читал.

В складе сидит, а книга в руках. Сначала ходил на галерку, потом до задних рядов партера дошел, а там, завел дружбу с актерами, за кулисами своим человеком стал. Так и прижился. Перед началом спектакля он рабочим и бутафору помогал, а потом его главной бессменной работой было поднимать занавес, что он делал и ловко и бесшумно. Нуждающимся актерам деньжатами помогал, в случае серьезной необходимости и довольно крупно, но пьяницам не любил давать, да и не знался с ними. На

репетициях бывать ему было некогда: в конторе служба, в спектакле — у занавеса, так что и в буфет он никогда не заглядывал.

Убедившись, что я решил ехать, Вася предложил зайти к нему и в Москву выехать с шестичасовым поездом. В уютных двух комнатах с книжными шкафами была печечка, из которой Вася вынул горшок щей с мясом, а из шкафа пирог с капустой и холодную телятину, и поставил маленький самоварчик, который и вскипел, пока мы ужинали. Решили после ужина уснуть, да проговорили до пяти часов утра — спать некогда.

Мне стыдно было, что он знает больше меня пьес; он перевидал много знаменитостей, говорил о них, передавал свои впечатления об игре, рассказывал сюжеты пьес, которые я узнал много времени спустя.

На мой вопрос, почему он поднимает занавес, когда у него есть средства сидеть в партере, он ответил:

— Только не из жадности! Бывать за кулисами стоит не дешевле, а, пожалуй, и подороже, а вот люблю я бывать за кулисами... Не потому, что кругом и короли, и царицы, и рыцари, и герои, с которыми запросто разговариваешь. Нет!.. Сперва, действительно, и это меня интересовало... Вдруг Иван Грозный тебе руку подает или Жанна д'Арк, в латах и золоченом шлеме, обращается с просьбой: «Васенька, застегните мне пряжку — самой не достать»... Дивно все это — вдруг в «Казни безбожника» сатана с рогами и хвостом перед выходом на сцену крестится... Нет, просто я привык за кулисами, передружился с актерами, своим человеком стал. В театре я образование получаю — это мой университет.

Уже на вокзале он дал мне двадцать пять рублей, и, когда я отказывался, он просил его не обижать.

— Спасибо. При первой же получке я вам вышлю, Васенька.

Он замахал руками, а потом прибавил:

— Вот в том-то и дело, что это не долг, а просто, я прошу вас исполнить мое поручение. Я никому в долг не даю и вынутые из кармана деньги уже не считаю своими, а пускаю их в оборот — гулять по свету. С вами мы квиты. Но я вам их не дарю, конечно. Только вы их должны не мне, а кому-то другому... И я попрошу вас передать их и только тогда, когда у вас будут свободные деньги.

— Да кому же, я не понимаю?

— А вот кому! Когда при деньгах вы встретите действительно хорошего человека, отдайте ему эти деньги или сразу все или несколькими частями — и, значит, мы квиты. А тех, которым вы дадите деньги, обяжите словом поступить так же, как вы. И пойдет наша четвертная по свету гулять много лет, а может, и разрастется. Ежели когда будет нужда в деньгах — пишите, еще вышлю. Всякое бывает на чужой стороне...

На прощанье сказал:

— Сейчас же черкните, как доехали, и адресок, где остановились.

ДОКУЧАЕВ

В тамбовском театре, в большом каменном здании, в нижнем этаже, была огромная кладовая с двумя широкими низкими окнами над самой землей, одно на юг, другое на запад. Эта кладовая называлась «старая бутафорская» и годами не отпиралась.

В старые времена, когда еще Григорьев ездил с своей труппой в летние месяцы на ярмарки, там хранилась бутафория и всякая рухлядь, которая путешествовала с актерами. Как-то великим постом Григорий Иванович позвал машиниста Семилетова:

— Вот ключ, отопри кладовку, да сперва протри снаружи левое окно. Там, под ним, в театральном уголке стоит белый китайский сундук... Помнишь? Мы его с собой возьмем в отъезд.

— Знаю, под колесом!

— А вы,— обратился он ко мне и Васе,— помогите ему вытащить сундук. Только не вздумайте огонь зажигать — там все сразу вспыхнет.

Крякнул ключ, завизжала окованная железом дверь, и мы очутились в потемках — только можно было разглядеть два окна: одно полутемное, заросшее паутиной, другое посветлее. И вся эта масса хлама была сплошь покрыта пылью, как одеялом, только слева непонятные контуры какие-то торчали. Около двери налево широкая полка, на ней, сквозь пыль, можно рассмотреть шлемы, короны, латы, конечно, бумажные. Над ними висели такие же мечи, сабли, шестоперы.

Это и было начало театрального уголка... В другой половине, где хранились еще от постройки театра строительные материалы — листовое железо и деревянные рамы павильонов,— ничто не остановило внимания под сплошной пеленой пыли.

Вася тихо, стараясь не пылить, пробирался к светлому окну полуощупью.

Вдруг луч солнца ворвался в окно, и поднятая Васей пыль заплясала в широкой золотой полосе, осветившей серые контуры и чуть блеснувшей на кубках и доспехах.

Вася зачихал, выругался... Его звали «чистоплюй»: он по десять раз в день мыл руки, а когда пил водку, то последнюю каплю из рюмки обязательно выливал на ладонь и вытирал чистым платком. В кармане у него всегда были кусочки белой бумаги. Он никогда не возьмется за скобку двери иначе, как не обернув ее бумажкой. А тут такая пыль!

Вася так чихнул, что над головой его поднялась облаком пыль и густыми клубами, как бы из трубы, поползла по лучу. А Вася все чихал и ругался:

— Мордой в сатану угодил!

Солнце осветило над ним золотой трон и сидящую фигуру в блестящей короне, над которой торчали золотые рога. Вася продвинулся дальше,— и снова клуб пыли от крутнувшего огромнейшего широкого колеса, на котором поднялась и вновь опустилась в полумраке человеческая фигура: солнце до нее не дошло. Зато оно осветило огромного, красного сквозь пыль идола с лучами вокруг головы.

— Вот он, и сундук,— слышу из тучи пыли.

— Помочь? — спрашиваю.

— Да он легкий, сейчас выну!

Дернул он из-под колеса, колесо закрутилось, и я увидел привязанную к нему промелькнувшую фигуру человека. Выпрастывая сундук, Вася толкнул идола, и тот во весь свой рост, вдвое выше человеческого, грохнулся. Загрохотало, затрещало ломавшееся дерево, зазвенело где-то внизу под ним разбитое стекло. Солнце скрылось, полоса живого золота исчезла, и в полумраке из тучи пыли выполз Вася, таща за собой сундук, сам мохнатый и серый, как сатана, в которого он ткнулся мордой.

Задыхаясь, ругаясь и продолжая неистово чихать, он выбросил сундук в коридор и запер дверь.

Пока Вася отряхивался, я смахнул пыль с сундука. Он был белый, кожаный, с китайской надписью. Я и Вася, взявшись за медные ручки сундука, совершенно легкого, потащили его по лестнице, причем Вася обернул его ручку бумажкой и держал руку на отлете, чтобы костюмом не коснуться ноши. За стеной, отделявшей от кладовки наши актерские номерки, в испуге неистово лаяла Леберка, потревоженная неслыханным никогда грохотом. Я представил

себе, как она лает, поджав свой «прут», как называют охотники хвост у понтера, шерсть волнистая ирландского сеттера и уши торчком стоят.

* * *

За вечерним чаем, как всегда, присутствовали друзья Григорьева: суфлер Ф. Ф. Качевский, А. Д. Казаков и В. Т. Островский.

— Григорий Иванович, что такое страшное колесище там? А в нем будто человек привязан.

— Это вот он привязан,— и Григорий Иванович указал пальцем на Казакова.

— Уж и я? Просто мое чучело,— ответил Казаков точь в точь тем же тоном, как он, играя Аркашку, отвечал Несчастливцеву на слова его: «Тебя четыре версты нагайками в Курске гнали».— «Уж и четыре?»

Точь в точь тот же самый тон и то же выражение лица.

— Ты расскажи лучше, как тебя колесовали,— не отставал Григорьев.

— Уж и колесовали? Никто меня не колесовал.— И, игнорируя Григорьева, Казаков обратился ко мне, как к человеку новому, и продолжал рассказывать давно известное другим собеседникам: — Играл я дон Педро; тогда еще я крепостным был. На сцене суд инквизиции. Присудили дон Педро колесовать. А вот это самое колесо в глубине сцены стоит, а кругом сбиры, полиция в черных кафтанах, на голове черные колпаки, лица в черных масках. Среди них огромный палач весь в красном. И вот прямо от стола судей — они монахи и тоже в черных масках — повел меня палач к колесу. Сбиры нас окружили, незаметно от публики меня опустили в люк, а вместо меня приготовили чучело, одетое так же, как и я. Театр был летний, открытый; партер и ложи полны съехавшимися со всей губернии помещиками, кругом театра народищу видимо-невидимо, свои крепостные и соседи мужики. Мать

мою и сестер — ведь я первейший придворный актер у нас считался — в партер усадили в углу, на скамейке вместе с семьями камердинера и дворецкого. Палач привязал дон Педро и крутнул колесо. «Санька-а-а-а!» — раздался вопль мамы, а за ней вой в народе. В партере и ложах с барынями истерики. В этот момент я уже разгримировался и стал разуваться, как ко мне в уборную вбежал сам Мосолов, схватил меня и в костюме, но без парика, одна нога в сапоге со шпорой, а другая босая, на сцену вытащил. Как только увидали меня, зааплодировали, кто-то крикнул «ура». За ним все — и господа и народ кругом. Все «ура». Рев звериный! Да-с, такого успеха никогда я больше не имел.

— Как называлась эта пьеса? — спрашиваю.

— «Дон Педро» или «Испанская инквизиция». Она самодельная, Мосолов ее из испанского романа переделал для своего театра и после спектакля сжег в камине.

— Я уж жалел, вот бы сборы делала,— перебил Григорий Иванович.— Лучше бы он пьесу мне прислал, а то десять возов рухляди: колесо и Перуна на отдельных дрогах везли.

— А сатану в кресле? — спрашиваю.

— Нет, сатана доморощенный, мы сами делали, для «Казни безбожника».

— А Перун — наш,— поторопился Казаков.— Потом Мосолов ставил «Крещение Руси, или Владимир Красное Солнышко». Декорации писать стали: Перуна сделали из огромнейшего осокоря, вырубленного в парке, да тут у барина с барыней вышла заворошка, она из ревности потребовала закрыть театр и распустить актеров. Имущество все театральное свалили в сарай, труппу разогнали, кого на работы в дальние имения разослали, а я бежал...

Я слушал интереснейшие рассказы Казакова, а перед моими глазами еще стояла эта страшная бутафория с ее паутиной, контурами мохнатых серых ужасов: сатана,

колесо, рухнувшая громада идола, потонувшая в пыли. Пахло мышами.

А Вася, когда мы уже принесли сундук, переодевались и мылись дома, заметил:

— Какой ужас! Вечером ни за что не пойду туда. Вельзевул этот, а над ним Перун,— так мне и кажется, что в окно кто-то лезет... лезет... Запри, кажется, меня на ночь туда — утром найдут бездыханным, как Хому Брута...

И сразу передо мною предстал гоголевский «Вий». Потом, когда уже я оставил Тамбов, у меня иногда по ночам галлюцинации обоняния бывали: пахнет мышами и тлением. Каждый раз передо мной вставал первый кусочек моей театральной юности: вспоминались мелочи первого сезона, как живые вырастали товарищи актеры, и первым делом Вася.

Вспоминался чай у Григорьева... и красноносый Казаков с его рассказами, и строгое лицо резонера В. Т. Островского. Помню до слова его спор за чаем с Казаковым, который восторгался Рыбаковым в роли Велизария.

— Нет, Милославский был лучше и величественнее. Ведь он был барон Фриденбург... и осанка...

— А как он тебя в «Велизарии» сконфузил? А? Ну-ка, расскажи молодому человеку.

— И горжусь этим...

Мы приготовились слушать, допив последний чай. В. Т. Островский поставил стакан на блюдечко, перевернул вверх дном и положил на дно кусочек сахара.

— Ну-с, это было еще перед волей, в Курске. Шел «Велизарий». Я играл Евтропия, да в монологе на первом слове и споткнулся. Молчу. Ни в зуб толкнуть. Пауза, неловкость. Суфлер растерялся. А Николай Карлович со своего трона ко мне, тем же своим тоном, будто продолжает свою роль: «Что же ты молчишь, Евтропий? Иль роли ты не знаешь? Спроси суфлера, он тебе подскажет. Сенат и публика уж ждут тебя давно».

Не успел Островский договорить последнюю фразу, как отворилась дверь, и высокий тенор наполнил всю комнату:

«Богам во славу, князю в честь!»

Против меня у распахнутой двери стоял стройный высокий богатырь в щегольской поддевке и длинных сапогах. Серые глаза весело смотрели. Обе руки размахнулись вместе с последней высокой нотой и остановились над его седеющей курчавой головой. В левой — огромная жестяная банка, перевязанная бечевкой, а в правой — большой рогожный кулек.

— Миша! — раздалось встречное приветствие.

— Гриша! Это икорка сальянская!..

Банку поставил к ногам хозяина, а кулек положил на пол у стула перед хозяйкой, приложившись к ее руке.

— Стерлядок вам, Анна Николаевна, саратовские, пылкого мороза.

Поцелуи, объятия.

В это время Вася шепчет мне:

— Это вот тот самый — Докучаев. Помнишь, в «Свадьбе Кречинского» Расплюев жалуется: «После докучаевской трепки не жить».

Я так и обомлел. Пьеса эта прошла в сезон пять раз и была у меня на слуху.

— Могу я об этом его спросить, Вася?

— Не советую. В какой час попадешь!

— Михаил Павлович, позволите чайку? — спросила хозяйка.

— Гриша, чайку-то чайку, а что к чайку?

— А к чайку ромку. Еще осталось малость, никому не даю, на случай простуды берегу!

Докучаев как-то съежился, изменил лицо, задрожал, застучал зубами.

— Я ужасно простужен,— чуть не плачет.

— Сейчас вылечу, принесу,— наклонился к кульку и отступился.— Не поднимешь. Да ты пуд, что ли, привез?

— Да, около того, без малого с лишком... Извини, Гриша, уж сколько было.

Докучаев опрокинул бутылку в пустой чайный стакан, который оказался почти полным, затем поднял его и продекламировал:

Убей меня господь бог громом,
Не будь лихим я казаком,
Когда испорчу чай я ромом
Или испорчу чаем ром.

И залпом выпил.

* * *

Несмотря на просьбы Григорьева погостить, Докучаев отказался:

— Меня телеграммой вызвал Лаухин. Я у него режиссером, для Орла еду труппу составлять.

На другой день перед отъездом Докучаев спустился вниз к В. Т. Островскому, который звал его «дорожку погладить» и приготовил угощение.

Большая низенькая комната, увешанная афишами и вензнаками. Вдруг Докучаев замолчал, поднял голову, озираясь:

— Это та самая комната?

— Да,— подтвердил В. Т. Островский.

— Какие подлецы!.. А жаль Гришу... Совсем зря погиб...— И, задумавшись, молча выпил.

— Еще!..

Я уже знал тайну этой комнаты. В ней был застрелен наповал ворвавшимся неожиданно гусаром актер Кулебякин.

Накануне он публично оскорбил офицеров, в том числе и этого гусара. И вот, рано утром, на другой день, гусар разбудил спавшего Кулебякина и, только что проснувшегося, еще в постели, уложил пистолетной пулей.

Как-то Кулебякин студентом однажды приехал на ярмарку в Урюпино покупать лошадь, прокутил деньги и, боясь отца, поступил к Григорьеву на сцену.

Огромного роста, силы необычайной и «голос, шуму волн подобный». В своих любимых ролях — Прокопия Ляпунова, боярина Басенка, Кузьмы Рощина — он конкурировал с Н. Х. Рыбаковым.

Докучаев набивал «жуковским табаком» трубку на длинном чубуке. Вася молчал. Тут я и решился.

— Михаил Павлович... Кого здесь убили?

— Не знаешь? Ты не знаешь?

Он встал и загремел:

— «Его, властителя, героя, полубога...» Друга моего Гришу Кулебякина убили здесь... «Человек он был». «Орел, не вам чета»... Ты видишь меня? Хорош?.. Подковки гнул. А перед ним я был мальчишка и щенок. Кулачище — во. Вот Сухово-Кобылин всю правду, как было, написал... Только фамилию изменил, а похожа: Ку-ле-бякин у него Семи-пя-дов. А мою фамилию целиком поставил: «После докучаевской трепки не жить!» После истории в Курске не жить!

Разошелся, глаза блестят. Голос гремит по комнате.

— А было это под Курском, на Коренной ярмарке... Тогда съезжались помещики из разных губерний, из Москвы коннозаводчики бывали, ремонтеры... Ну, конечно, и шулерам добыча, игры тысячные были... А мы в то лето с Гришей в Курске служили — и поехали прокатиться на ярмарку... Я еще совсем молодым был. Деньги у меня были, только что бенефис взял. Приехали,— знакомых тьма... Закрутили... Захотелось в картишки. Оказалось, что с неделю здесь ответный банк мечет какой-то польский граф Красинский. Встретились со знакомым ремонтером — тоже поиграть к графу идет: взялся нас провести — пускают только знакомых. Большая мазанка в вишневом саду. Человек десять штатских и офицеров понтируют, кто сидит, кто стоит... Пол усыпан картами. На столе груды денег... Мечет банк франт с шелковистыми баками и усиками стрелкой. На руках кольца так и сверкают. Вправо толстяк

с усами, помещичьего вида, следит за ставками, рассчитывается, а слева от банкомета боров этакий, еще толще, вроде Собакевича, в мундире. Оказалось после — исправник, тоже помогал рассчитываться. Кулебякин сел за стол и закурил сигару, он не любил карт. Я сразу зарвался, ставлю крупно, а карта за картой все подряд биты. «Пойдем, шулера»,— шепчет мне Гриша. Я от него отмахиваюсь и ставлю. Разгорячился. Опять все карты — крупная была ставка — биты. Подается новая колода карт. Вдруг вскакивает Гриша, схватывает через стол одной рукой банкомета, а другой руку его помощника и поднимает кверху: у каждого по колоде карт в руке, не успели перемениться: «Шулера, колоды меняют!» На момент все замерло, а он схватил одной рукой за горло толстяка и кулачищем начал его тыкать в морду и лупить по чем попало... Граф заорал: «Цо?.. Цо?.. Разбой здесь»,— и ловит за руку Гришу. Тогда уж я его по морде... С ног долой... Кругом гвалт, стол опрокинулся, а Гриша прижал своего толстяка к стене, потянулся через стол и лупит по морде кулаком... Исправник бросился на меня... Я исправника в морду... Стол вверх ногами... Исправник прыгнул к окну и вылезает... Свалка... Графа бьют... Кто деньги с полу собирает... Исправник лезет в окно — высунул голову и плечи и застрял, лезет обратно, а я его за ноги и давай вперед пихать. Так забил, что ни взад, ни вперед... голова на улице, ноги здесь, а пузо застряло. Потом пришлось стену рубить, чтоб его достать. Когда я приехал зимой в Москву, все уже знали. Весь Малый театр говорил об этом. У Печкина в трактире меня актеры чествовали. Сам Михаил Семенович Щепкин просил рассказать, как все это было. А узнали потому, что на ярмарке были москвичи-коннозаводчики и спортсмены и рассказали раньше всю историю. Оказалось, что граф Красинский вовсе не граф был, а шулер.

* * *

Прошло много лет, и в конце прошлого столетия мы опять встретились в Москве. Докучаев гостил у меня несколько дней на даче в Быкове. Ему было около восьмидесяти лет, он еще бодрился, старался петь надтреснутым голосом арии, читал монологи из пьес и опять повторил как-то за вечерним чаем слышанный мной в Тамбове рассказ о «докучаевской трепке». Но говорил он уже без пафоса, без цитат из пьес. Быть может, там, в Тамбове, воодушевила его комната, где погиб его друг.

Я смотрел на эту руину былого богатыря и забияки и рядом с ним видел другого, возбужденного, могучего, слышал тот незабвенный, огненный монолог. Самое интересное, что я услышал теперь от постаревшего Докучаева, был его отзыв о В. В. Самойлове.

— Это был лучший, единственный Кречинский... Глядя на Василия Васильевича, на его грим, фигуру, слушая его легкий польский акцент, я видел в нем живого «графа», когда вскочил тот из-за стола, угрожающе поднял руку с колодой карт... И вот в сцене с Нелькиным, когда Кречинский возвышает голос со словами: «Что? Сатисфакция?» — сцена на ярмарке встала передо мной: та же фигура, тот же голос, тот же презрительный жест... Да, это был великий артист. Придумать польский акцент, угадать жесты, грим... И как рад был Василий Васильевич, когда я зашел к нему в уборную и рассказал все, что говорю теперь вам... Он меня обнял, поцеловал и пригласил на другой день к себе обедать, а я запутался и не попал, потом уехал в провинцию и больше не видал его, и не видал больше на сцене ни одного хорошего Кречинского — перед Василием Васильевичем Самойловым каждый из них был мальчишка и щенок.

На другой день в вагоне дачного поезда, уже перед Москвой, я спросил:

— Встречался ли ты, Миша, с Сухово-Кобылиным? Уж очень он метко описал всю сцену.

— Нет, с ним не встречался. А может, он сам видел эту сцену? Наверное, бывал на ярмарке. Картежник он был и лошадник. У него в Москве были призовые лошади, сам он участвовал на московских скачках, первые призы выигрывал. А потом под Ярославлем у него имение было. А в Ярославле в то время жил и тот, с кого он Кречинского писал... Шулер Красинский за графа сперва себя выдавал. А вот этого толстяка, с которого он Расплюева писал, из которого Гриша тогда «дров и лучин нащепал», я встретил в Ярославле. Он был и шулер и соборный певчий и служил хористом в ярославском театре. Его там Егорка Быстров в шулерстве поймал. Из окна выкинули.

Последние слова он договорил, когда наш дачный поезд остановился у платформы Рязанского вокзала.

— Егорка Быстров сам игрок.

Наконец, судьба Докучаева устроилась — и совершенно случайно. На Тверской встречаю как-то Федю Горева и зову его к себе на дачу.

— Не могу, завтра вечером в Питер еду.

— А у меня Докучаев гостит!

— Миша? Михаил Павлович? Да ну? Ведь благодаря ему я теперь и разговариваю с тобой. Кабы не он, и Горева не было бы, а торговал бы в Сумах Хведор Васильев ситцем.

Я рассказал ему, что старик бедствует.

— Так привози его мне завтра утром. Я живу в «Ливадии». Знаешь? Против «Чернышей». Там писатель Круглов живет, в соседнем номере.

* * *

Обрадовался старик, узнав о Гореве.

— Я его придумал. Мы играли тогда в Сумах. Вхожу в лавку — и обалдел. За прилавком стоит юноша неописуемой красоты. Фас — Парис, а в профиль — Юлий Цезарь... Представь себе, Юлий Цезарь, вместо боевого

Ф. П. Горев

меча, отмеривающий железным аршином ситец какой-то бабе и в чем-то неотразимо убеждающий ее. Голос звучный, красивый. Ну, я ему сейчас контрамарку. Велел за кулисы притти. На другой день зашел к нему, познакомился с отцом. Красавец-старик, отставной солдат из кантонистов, родом с Волыни, мать местная... славная... Ну, дальше — больше. Сыграл у меня Федя Васильев несколько ролишек — я ему начитал, вижу — талантище. Увез с собой в Харьков, определил к Дюкову — и вот Горев.

Привез я на другой день старика к Гореву, и больше мы не видались. Горев в тот же день уехал с ним в Питер и определил его в приют для престарелых артистов.

Я слыхал от бывавших там, что старик блаженствует и веселит весь приют. Рассказывает про старину, поет арии из опереток и опер, песни, с балалайкой не расстается.

СВЕТ И ТЕНИ

ДРУЗЬЯ

В старые времена не поступали в театр, а попадали, как попадают не в свой вагон, в тюрьму или под колеса поезда. А кто уж попал туда — там и остался. Жизнь увлекательная, работа вольная, простота и перспектива яркого будущего, заманчивая и достижимая.

Здесь «великие» закулисного мира смотрят на мелкоту, как на младших товарищей по сцене, потому что и те и другие — люди театра. Ни безденежье, ни нужда, ни хождение пешком из города в город не затуманивали убежденного сознания людей театра, что они люди особенные. И смотрели они с высоты своего призрачного величия на сытых обывателей как на людей ниже себя.

— Горд я, Аркашка,— говорил Несчастливцев, шагая пешком из Керчи в Вологду, встретив Счастливцева, шагавшего из Вологды в Керчь...

И пошли вместе старые друзья, с которыми я служил на одной сцене. Именно с них, с трагика Николая Хрисанфовича Рыбакова и комика Александра Дмитриевича Казакова, писал Островский героев своего «Леса».

— Для актера трактир есть вещь первая,— говорил Аркашка.

Я имел незабвенное удовольствие не раз сидеть с ними за одним столом в актерском трактире «Щербаки».

• • •

...Владимирка — большая дорога. По избитым колеям, окруженная конвоем, серединой дороги гремит кандалами партия арестантов. Солнце жарит... Ветер поднимает пыль. Путь дальний — из Московской пересыльной тюрьмы в Нерчинскую каторгу.

По обочине, под тенью берез, идут с палками и тощими котомками за плечами два человека: один огромный, в каком-то рваном плаще, ловко перекинутом через плечо, в порыжелой шляпе, с завернутым углом широких полей. Другой — маленький, тощий, в женской кофте, из-под которой бахромятся брюки над рыжими ботинками с любопытствующим пальцем.

Большой широко шагает с деловым видом, стараясь не обращать на себя внимания встречных. Другому не до встречных: он торопится догнать спутника. Рыжая бороденка мочалкой, мокрая и серая от пыли и пота, текущего струйками по лицу.

Но все-таки их заметили. Молодой парень первой шеренги, улыбаясь безусым губастым ртом, гремит наручниками, тыча в бок скованного с ним соседа, тоже, как и он, с обритой наполовину головой:

— Глянь-ка, актеры! Гы... гы!

— Не смейся, щенок! Может, сам хуже будешь!

— ?

Да ведь это было. Было. Николай Хрисанфович в семидесятых годах в «Щербаках» в дружеской компании рассказывал этот анекдот.

— Мы шли вот с Сашкой Казаковым из Владимира в Москву, меня вызвали в Малый, дебютировать в «Гамлете». Помнишь, Сашка? Ты тогда от своего барина бежал и слонялся со мной. Сколько я тебя выручал!

— Да-с, Николай Хрисанфыч. Ежели бы не вы, запорол бы меня барин.

— А как я тогда играл Гамлета! Это было в 1851 году. Как играл!

— А потом, когда вас приняли в Малый, вы плюнули и сказали: не хочу быть чиновником! — И мы ушли... В Воронеж ушли... А там вы меня выкупили у барина.

Это подтверждение Казакова было нужно, потому что Рыбаков любил приврать. Казакова тогда уже знали как известного провинциального комика, скромного и правдивого человека, и уважали его. Все знали и его прошлое, хотя он усиленно старался скрыть его.

Помещик Мосолов держал у себя в тамбовском имении театр, и Сашка Казаков, один из лучших актеров его крепостной труппы, крепко провинился перед барином тем, что сошелся с барской любовницей, крепостной актрисой. Барин выпорол его и пообещал запороть досмерти, если он еще позволит себе ухаживать. Грех случился. Барину донесли. Актрису он сослал в скотницы, а Казакова приказал отвести на конюшню пороть. Он вырвался, убежал, попал в труппу Григорьева, а потом уж Рыбаков оттуда увез его в Москву, выкупил на волю и много лет возил с собой.

* * *

О знаменитом Н. Х. Рыбакове, друге А. Н. Островского, остались только одни анекдоты и ничего больше. Когда-то я записывал рассказы старых актеров и собирал их.

В первые годы моей литературной работы журналы и газеты очень дорожили этим материалом, который охотно разрешался цензурой. Газета, печатавшая их, даже завела отдел для этого материала под рубрикой «Записки театральной крысы».

Вот что сохранилось в моей памяти о знаменитом Н. Х. Рыбакове.

Двадцать лет Рыбаков сердился на Москву. Двадцать лет он приезжал постом то в знаменитый «Белый зал», то в неизменные актерские «Щербаки», и двадцать лет упорно не хотел выступать на московских сценах, даже несмотря на просьбу своего друга А. Н. Островского.

И было на что рассердиться: в 1851 году Н. Х. Рыбаков удачно дебютировал в «Гамлете» и «Уголино» на сцене Малого театра. Канцелярская переписка о приеме в штат затянулась на годы. Когда, наконец, последовало разрешение о принятии его на сцену, то Н. Х. Рыбаков махнул рукой: «Провались они, чиновники!»

И снова загремел по провинции.

В начале семидесятых годов в Москве, на Варварской площади, вырос народный театр. Драматург Чаев, помнивший дебют Н. Х. Рыбакова в Малом театре, порекомендовал режиссеру А. Ф. Федотову пригласить Н. Х. Рыбакова в его труппу.

— Орало! Оралы нынче не в моде!

Эта фраза Федотова потом была увековечена А. Н. Островским.

— Да вы посмотрите, Александр Филиппович, сколько правды в нем, как он талантлив!

Н. Х. Рыбаков был приглашен на поспектакльную плату в двадцать пять рублей.

Народный театр открылся «Ревизором», и Н. Х. Рыбаков сыграл Земляннику. Да так сыграл, что на каждую его реплику публика отвечала:

— Рыбаков, браво!

А на другой день в «Московских ведомостях» у Каткова появилась статья об открытии театра и отдельная о Н. Х. Рыбакове, заканчивающаяся словами: «Честь и слава Рыбакову!»

И сразу вырос в Москве Н. Х. Рыбаков во весь свой огромный рост.

Следующей пьесой шла «Бедность не порок». Любима Торцова играл лучший из Любимов Торцовых — артист Берг, а Гордея — Рыбаков.

В третьем акте, когда Гордей говорит: «Да что ж, я зверь, что ли?», публика забыла всех исполнителей и закатила несмолкаемую овацию Рыбакову.

В тот же вечер Берг отказался играть Любима, если Гордея будет играть Рыбаков.

С этого дня Берг и Рыбаков стали чередоваться в спектаклях «Бедность не порок».

Перешел Народный театр к князю Урусову и Танееву. Рыбаков занял в театре первое место. А. Н. Островский создал «с него» и для него «Лес». Николай Хрисанфович поставил в свой бенефис «Лес», где изображал самого себя в Несчастливцеве. Аркашку играл знаменитый Н. П. Киреев, чудный актер и талантливый писатель, переводчик Сарду.

Театр полон... Встреча — сплошная овация. Наконец, слова Несчастливцева:

«Последний раз в Лебедяни играл я Велизария. Сам Николай Хрисанфович Рыбаков смотрел...»

Взрыв аплодисментов. Это был триумф невиданный. Но об этом забылось, а ходили только анекдоты о нем.

* * *

Богатырь, огромного роста, силы необычайной, но добрый и тихий, как ягненок.

И при славе первого светилы всегда был отзывчивый к «мелкоте». Шли к нему полуголодные «Аркашки», и отказа не было никому.

В Тамбове Николай Хрисанфович играл боярина Басенка в драме Н. Кукольника «Боярин Ф. В. Басенок». В одной из сцен Басенок схватывает шестопер и, размахивая им, читает свой бешеный монолог, от которого у публики мозги стынут: «Бык с бойни сорвался, тигр вырвался из клетки».

Мечется по сцене, угрожая палицей. Реквизитор, не позаботясь сделать палицу, принес из мастерской двухпудовый молот. С этим молотом провел всю сцену Рыбаков, а потом только выругал изящного и худенького режиссера Песоцкого:

— Тебе бы, дураку, такой молот дать!.. Посмотрел бы я!

Бывали с этим колоссом и такие случаи: в семидесятых годах, во время самарского голода, был в Москве, в Немчиновке, поставлен спектакль в пользу голодающих. Шло «Не в свои сани не садись». Русакова играл Николай Хрисанфович, а остальных изображал цвет московских любителей: В. А. Морозова (Дуню), П. А. Очкина, С. А. Кунин, Дм. Н. Попов и другие.

После утренней репетиции, в день спектакля, на товарищеском завтраке Николай Хрисанфович выпил «лишние полведра» и загулял.

Его отвезли домой. Жил он на Тверской, в доме графа Олсуфьева, в актерских меблирашках «Чернышах».

Но оставаться дома Николай Хрисанфович не пожелал и собрался в трактир к Тестову. Несмотря ни на какие просьбы окружающих, надел шубу, шапку, калоши и вышел в коридор. Его стали останавливать друзья.

— Прочь! — загремело по коридору, и все отхлынуло от «боярина Басенка».

На крик выбежала маленькая, кругленькая содержательница номеров Калинина и с визгом набросилась на Рыбакова:

— Ты что же это, безобразник? Чего орешь?.. Пошел назад! Ну, поворачивайся! — И впихнула растерявшегося гиганта в номер.— Шубу долой! Снял? Сапоги снимай!

Послушно разулся Николай Хрисанфович, а хозяйка взяла сапоги и вышла из номера. Все молчали и ждали прозы.

— Нет, какова? — добродушно рассмеялся Рыбаков и уснул до спектакля.

* * *

В числе московских друзей Николая Хрисанфовича был тогда юный Миша Садовский, сын его старого друга Прова Садовского. Все трое были друзья А. Н. Островского.

Миша родился уже в Москве. Сын Прова вырос в кругу талантов и знаменитостей; у его отца собиралось все лучшее из артистического и литературного мира, что только было в Москве: А. Н. Островский, М. Е. Салтыков-Щедрин, А. Ф. Писемский, А. А. Потехин, Н. С. Тихонравов, Аполлон Григорьев, Л. Мей, Н. А. Чаев и другие. Многие из них впоследствии стали друзьями Михаила Провыча.

И в этой среде из юноши-актера выработался талантливый писатель и переводчик.

В начале девяностых годов в Москве издавался Ф. А. Куманиным журнал «Артист», который очень любил Михаил Провыч.

Как-то зимой Михаил Провыч принес в редакцию «Артиста» свою рукопись, и собравшийся кружок сотрудников просил его прочесть что-нибудь из нее. Михаил Провыч прочел несколько отдельных сцен, которые то захватывали душу, то вызывали гомерический хохот.

— Вот так-то и Александр Николаевич Островский хохотал, когда я ему рассказывал эту быль, конечно, разукрашенную... Благодаря ему и рассказ этот «Дикий человек» я написал — это он потребовал.

Тогда Ф. А. Куманин и упросил Михаила Провыча упомянуть об этом в примечании к рассказу.

Примечание к рассказу было такое: «В конце семидесятых годов, в один из моих приездов к А. Н. Островскому в Щелыково, мы, по обыкновению, сидели с ним около мельницы с удочками; рыба не клевала; Александр Николаевич был скучен. Желая его развлечь, я принялся болтать всякий вздор и как-то незаметно перешел к рассказу о том, как некоторый бедный человек от нужды поступил в дикие. Пока я фантазировал на все лады, Александр Николаевич не спускал с меня глаз, и, когда я кончил фантастическое повествование, он взял с меня слово непременно написать этот рассказ. Несколько раз я пытался

исполнить его желание, но все не удавалось. Теперь, написав его, я счел обязанностью посвятить мой первый беллетристический опыт памяти знаменитого драматурга и моего дорогого учителя».

После напечатания этого рассказа Общество любителей российской словесности почтило Михаила Провыча избранием его в свои действительные члены.

Всегда веселый, Михаил Провыч отмечал все интересное эпиграммами и экспромтами. Так, когда появился нелепый морозовский «замок» на Воздвиженке, он сказал:

Сей замок на меня наводит много дум,
И прошлого мне стало страшно жалко.
Где прежде царствовал свободный русский ум,
Там ныне царствует фабричная смекалка.

Когда управляющим театрами назначили вместо пехотного офицера Пчельникова кавалериста Теляковского, Михаил Провыч пустил следующее четверостишие:

Управляла когда-то пехота
Образцовым искусства рассадником,
А теперь управленья забота
Перешла почему-то ко всадникам...

Войдя как-то на репетицию в Малый театр, Михаил Провыч услыхал жестокий запах нафталина и тут же сказал:

Не житье нам, а малина.
Этот запах нафталина
Убеждает всех, что Боль
Выводил в театре моль.

Остроумны были многочисленные басни Михаила Провыча, писавшиеся им нередко на злобу дня и ходившие по рукам с его любимой подписью: Хемницер II.

Он владел пятью языками, в том числе испанским, и переводил пьесы без словаря.

Коренной москвич, он всей душой любил Москву, любил Россию и никогда не бывал за границей. Когда

его приглашали за границу, он всегда отказывался и говорил:

— Я лучше поеду на Оку, на Волгу. Стерлядей да икру есть.

Чистый, самобытный москвич, он для шутки иногда любил сказать по-старомосковски:

— Я намедни его встретил у Трухмальных ворот,— и говорил это так, как будто иначе и нельзя сказать.

Сыну Михаила Провыча, тоже артисту Малого театра, Прову Михайловичу, я как-то, вспоминая отца и деда, сказал:

Пров велик и славен был,
Был велик и Михаил.
Слава их сверкает снова
Нам в таланте ярком Прова.

БУРЛАКИ

Рассветало, когда мы с Андреевым-Бурлаком вышли от А. А. Бренко. Народу на улицах было много. Несли освященные куличи и пасхи. По Тверской шел народ из Кремля. Ни одного извозчика, ни одного экипажа: шли и по тротуарам и посреди улиц. Квартира Бурлака находилась при театре в нижнем этаже, вход в нее был со двора.

Три хорошо обставленные комнаты, кабинет с кроватью, письменным столом и книжным шкафом, столовая с кожаной мебелью, большая комната с буфетом и двумя турецкими диванами и обширная прихожая, где за загородкой помещался его слуга Федор, старик, бывший камердинер его дяди.

Федор уже позаботился накрыть на стол: кулич и баба из булочной Филиппова, пасха, блюдо крашеных яиц и разные закуски. Федор не спал, он вернулся от заутрени

и поддерживал огонь в кипевшем самоваре. Расцеловались со стариком.

— Вот, Федя, мой друг Владимир Алексеевич, будет жить у нас. Нравится? Ну, вот завтра и переезжай!

— Да я уж переехал. А чемодан завтра принесу!

Мы пили чай, второй раз разговелись, чтобы поддержать компанию для старика, изображавшего хозяина дома.

На другой день я принес свой чемодан из соседних номеров Голяшкина, излюбленных актерами. Федор вынул черную пару и белую полотняную и повесил в гардероб.

Увидел как-то Бурлак мои белые штаны.

— Пожалуй, они мне впору будут. Дай-ка померяю... Хорошо, что увидал, а то бы никогда не собрался... Федя, давай мерить.

Оказались впору.

— Широковаты немного, да это еще лучше!

Бурлак вышел в свой кабинет, а я разговаривал с Федей, который брился у окна в своей комнате. Он брился ежедневно, чисто, оставляя только маленькие бачки, разрезанные пополам белым полумесяцем, что очень шло к его строгому, еще свежему лицу с большим лбом, с наползшим мысом густых, коротко остриженных седых волос. Сухой, стройный, он красиво донашивал старые костюмы Бурлака, как будто они были на него сшиты.

— Матушка, пожалей о своем бедном дитятке,— вдруг раздался вопль сзади меня.

Я вскочил и ошалел. В двери кабинета стоял весь в белом человек, подняв руки кверху. Из-за его ладони мне не видно было лица.

— Ну вот, Володя... Сейчас поедем к Конарскому сниматься. Давно собирался, да все штанов не было!..

Мы поехали в Газетный переулок к фотографу Конарскому. Там Бурлак переоделся, загримировался и снялся в десяти позах в «Записках сумасшедшего». Жутко было смотреть.

В. Н. Андреев-Бурлак

Бурлак подарил мне с разными надписями эту коллекцию кабинетных портретов, которые пропали во время моей бродяжной жизни.

Помню одну карточку, на обороте ее было написано: «Спасибо за твои штаны, получи их изображение, а штанов не отдам — в них всегда читать буду».

* * *

Зажили мы у Бурлака втроем по-хорошему, впрочем, не надолго. Как-то мы пришли от А. А. Бренко рано и стали раздеваться. Вдруг звонок, Федя с кем-то говорит, спорит, и в столовую вваливается седой бородатый мужчина в поддевке и широкополой шляпе.

— Вася, что же это меня не пускают?

— Александр Иванович! Раздевайся, умывайся и входи. А ты, Федя, закусить накрой... да самоварчик.

— Это мой старый приятель... Александр Иванович Якушкин. Брат того народника, Павла Якушкина, которого Некрасов упоминает в своей поэме «Кому жить хорошо»... Помнишь:

Павлуша Веретенников
С гармоникой в руке...

Этот тоже народник, точь в точь брат. Я с ним познакомился в Туле, года три назад, когда его вернули из Сибири. Живет в имении у родственницы, под Тулой, близ Черни. Я был у него там в гостях... Помню только имя этой старой дамы — Елизавета Мардарьевна.

Все это Василий Николаевич рассказал мне, пока гость сопел, фыркал и плескался, умываясь в прихожей.

* * *

Часа два просидели и проболтали. Оказалось, что Бурлак его вызвал письмом. Он рассказал о нем А. А. Бренко, а та предложила выписать старика: дадим ему место контролера.

П. И. Якушкин

В Сибири в ссылке Якушкин пробыл шестнадцать лет, а потом старика вернули в свою губернию, без права въезда в столицы. Это смущало его.

— В Москве-то меня не схапают?

— Ничего. Это уладим. Только, конечно, оденем тебя по-европейски.

Как-то Бурлак рассказал случай, за который в молодости был выслан из Москвы Павел Якушкин.

Попал Якушкин с кем-то из московских друзей на оперу «Жизнь за царя», в Большой театр. Билеты у них были в первом ряду. Якушкин был в козловых сапогах, в красной рубахе и щегольской синей поддевке.

Публика первых рядов косилась на него, но он сидел рядом со своим другом, весьма уважаемым известным профессором. Все бы шло хорошо, но в антрактах они ходили в буфет и прикладывались. Наконец, запели на сцене:

После битвы молодецкой
Получили мы царя...

Якушкин встал и, грозя кулаком на сцену, гаркнул на весь театр:

— Говорил вам, что драка до добра никогда не доведет...

* * *

Летом труппа А. А. Бренко играла в Петровском казенном театре. Огромное, несуразное здание с большой прекрасной сценой. Кругом обширный сад, огороженный глухим забором. В саду буфет и эстрада для оркестра военной музыки. Репертуар и труппа, как зимние.

Играли шесть дней в неделю; по субботам и накануне больших праздников спектакли не разрешались.

По субботам у А. А. Бренко, на ее даче около Соломенной сторожки, бывали многолюдные обеды, на которых присутствовали московские знаменитости, а в обыкновенные дни тоже садилось за стол человек пятнадцать

своих, в том числе Якушкин, уже в черном пиджаке, и Васильев.

Они сразу сошлись: столько у них оказалось общих знакомых, кроме того, оба были народники. Иногда обедали и нелегальные из Петровской академии, никогда не являвшиеся на многолюдные субботние обеды.

Эти семейные обеды были особенно веселы: интересные люди — и все свои.

Здесь

...На свободное слово
Никто самовластно цепей не ковал...

Здесь Вася читал стихотворения Огарева и Рылеева. Бурлак смешил компанию рассказами о своей знаменитой губе, о которой поэт Минаев напечатал в левой газете тех дней, «Московском телеграфе», такой экспромт:

Москва славна Тверскою,
Фискалом М.Н.К.[1]
И нижнею губою
Актера Бурлака.

Действительно, губа у Бурлака была особенная. На его красивом лице, освещенном прекрасными голубыми глазами, она, огромная и толстая, была, казалось, совсем некстати, но она умела выражать малейшее настроение ее обладателя: губа то смеялась, то сердилась, то плакала. Она плакала в «Записках сумасшедшего», она смеялась в «Аркашке», она сердилась в «Городничем», когда он цыкал злым шопотом на Держиморду, а в его рассказах она подчеркивала все слова, придавая им силу. Когда Бурлак молчал и слушал чей-нибудь разговор, я смотрел на губу и знал, что он думает. Когда надо было сдерживаться, его глаза ничего не выражали, лицо каменное, а губа говорит.

* * *

[1] М. Н. Катков.

Мы познакомились с Бурлаком в 1877 году и сразу подружились, вместе служили в саратовском летнем театре, а потом уж окончательно сошлись у А. А. Бренко, несмотря на то, что он был актер, окруженный славой, а я — актер на маленькие роли.

Бурлаку я обязан тем, что он ввел меня в литературу и изменил путь моей жизни дружеским приглашением служить у Бренко. Отсюда все и пошло.

Не встреться я с Бурлаком в Кремле на пасхальной заутрени, служил бы я где-нибудь в уездных городишках на провинциальных сценах и в лучшем случае сделался бы сторублевым актером и ходил бы по шпалам. Ни о какой литературе и речи бы не было.

Мы оба бурлаки волжские. Я настоящий бурлак, лямочник, но во время службы в театре об этом никто, кроме него, не знал; только ему я открылся. Время было не то: после «первого марта», когда мы служили, и заикаться об этом было рискованно. А он носил громкую фамилию «Бурлак» открыто и прославил это красивое, могучее слово.

Именитые миллионеры считали за счастье пожать руку Бурлаку, да не очень-то он жаловал их.

У него вышла имевшая большой успех книжка «На Волге», полная бытовых сцен, жизненных и ярких. Он их читал на вечерах с огромным успехом.

В «Русской мысли» нашумел напечатанный в 1881 году рассказ «За отца». Рассказ проскочил сквозь цензуру безнаказанно только случайно: в нем описывалась не то Шлиссельбургская, не то Петропавловская крепость, где на стене крепости часовой узнает в бегущем арестанте своего отца.

Как я был счастлив получить от него переплетенную в красный сафьян книжку «По Волге» с надписью: «Моему другу и однокашнику-волгарю, бурлаку настоящему, Володе Гиляровскому от актера Бурлака».

Это он меня второй раз бурлаком назвал. В первый раз я услыхал от него это слово в 1883 году великим постом. Я тогда уже работал в газетах и жил в гостинице «Англия» на Тверской, рядом с Английским клубом. Накануне в трактире Саврасенкова я встретил в бильярдной письмоводителя из 2-го Арбатского участка, страстного игрока, с которым я не раз игрывал на бильярде. Ко мне он питал особое уважение потому, что я печатаюсь, а он преклонялся перед литераторами. Отвел он меня в дальний угол, мы заняли пустой столик. Подали пиво.

— Я уж собрался к вам зайти, Владимир Алексеевич. Скажу вам неприятность, но под величайшим секретом. Если возможно, поскорее уезжайте из Москвы куда-нибудь. Да. В участке получена из охранного отделения секретная бумага о высылке из Москвы на время коронации неблагонадежных людей, и в числе их стоит и ваша фамилия. Вы живете в номерах «Англия»? Там указано это.

— За что же?

— Охранка что-нибудь пронюхала, может, встречали вас з компании поднадзорных, может, за то, что на нелегальных студенческих вечеринках читаете неподобное... Чорт их знает, за что, а вышлют. Перед высылкой, может быть, обыск будет. Уезжайте, никому ничего не говорите, когда и куда едете.

* * *

Проснулся я на следующий день в отвратительном настроении: куда ехать и на что? Денег никаких. Придется месяца три где-нибудь прожить, а в кармане трешница, и продать нечего. Перебираю бумаги, уничтожаю кое-какую нелегальщину. Вдруг стук в дверь. Я вздрогнул, оглянулся — и ожил.

— Ну вот, рад, что застал!

И глаза, и губы, и все лицо смеются. Вместо ожидаемого жандарма или шпика ко мне прихромал Василий Николаевич, никак уже не жданный.

— Я к тебе! Лето у тебя свободное? Хочешь на Волгу?.. Только не думай, не запрягу в лямку старого бурлака, а на пароходе в первом классе, да не вверх, как ты в лямке шел, а вниз побежим.

Что уж со мной было — сам не знаю. Но первым делом я рассказал во всех подробностях мой вчерашний разговор о высылке.

— Вот спасибо охранке, а то, пожалуй, не уговорил бы уехать. Значит, кончено, значит, теперь на одном пароходе два бурлака побегут. Вниз по матушке по Волге... А пока вот тебе сто рублей на расходы, и сегодня же вечером привози чемодан ко мне. Федя как рад тебе будет!

* * *

Оказывается, Бурлак составил товарищество артистов для поездки по Волге. Труппа была собрана, репертуар составлен, маршрут выработан — объехать все поволжские города, начиная с Ярославля до Астрахани включительно.

— А вот тебе и список актеров.

Читаю и поражаюсь: Писарев, Глама-Мещерская, Свободина-Барышева...

— Одна? С Далматовым разошлась? Одна едет?

Читаю дальше: Очкина, Рютчи с женой, Шмитова-Козловская, Булычевцева, Скалон, Вася Васильев, конечно, привесок к Писареву. Читаю: Корнев — суфлер. Гиляровский — актер и распорядитель по административной части. Бурлак — главный режиссер и распорядитель по ведению всего дела.

Кроме провинциального актера Илькова, все артисты принадлежали к составу «Русского драматического театра», выросшего на развалинах театра Бренко. Театр этот находился в Камергерском переулке, в том же доме, где теперь Московский Художественный театр.

— Роли уж распределены и розданы. Ты, кроме того, будешь передовым. Твоя обязанность выезжать раньше,

М. И. Писарев

снять театр и приготовить все к спектаклю: напечатать афиши, познакомиться с газетами.

— Сделано!

— Еще не составив труппы, я уж тебя наметил: Бурлак и выбрал бурлака на Волгу.

Вечером я переехал к Бурлаку и старался никуда не выходить, чтобы не угодить в охранку. Да и некогда было гулять: масса подготовительной работы, и, кроме того, я на-зубок учил данные мне роли.

Двадцатого апреля я выехал передовым в Ярославль, чтобы приготовить там театр, но там и готовить было нечего, нужно было только нанять номера. Театр держал толстяк-украинец Любимов-Деркач, матерый антрепренер, известный картежник. И ничем нельзя было больше обидеть его, как, изменив одну только букву фамилии, назвать не Деркач, а Дергач. Слишком ясный намек и, как говорили, не безосновательный, хотя и Деркач — словечко не из красивых: истертый веник.

Прекрасный ярославский театр. Почти рядом с гостиницей «Столбы», из которой, говорят, в окно Расплюева выкинули.

Через три дня утром я встретил всю труппу на вокзале, а в воскресенье, при полном сборе, с громадным успехом прошел первый спектакль.

Последний спектакль, в котором я принимал участие, был «Лес». Я играл Петра и угощал изящнейшую Гламу-Мещерскую подсолнухами, вынимая их из кармана своей поддевки, и та с удовольствием их щелкала, а Бурлак потом сказал мне при всех:

— Ну и кренделек ты с семечками придумал. А ловко вышло!

Сыграв Петра, утром в девять часов я отправился на пароходе в Кострому, взглянул на пески левого берега Волги, где шагал впервые в лямке, на гору правого берега, на белильный завод.

В. В. Васильев

В Костроме через три дня, все приготовив, встретил я на пристани труппу. В Костроме Аксюшу играла Мария Ивановна Свободина, с которой я не видался с Пензы, и мы, старые друзья, очень обрадовались друг другу.

Я ее тоже угощал семечками, а затем вся труппа от Ярославля до Астрахани запойно грызла их.

Результаты поездки по Волге были блестящи и в смысле успеха и в смысле заработка актеров.

Среди всех наших светил самый большой успех имел Бурлак: помимо таланта, волгари встречали своего волгаря и как задушевного, доброго, компанейского человека.

Про него ходила масса анекдотов, популярность его была громадна. Он любил весело выпить, лихо гульнуть, посмеяться, пошутить, но так, чтобы никому его шутки обидны не были. И все же во время поездки по Волге он жестоко обидел актера Илькова. Прекрасный исполнитель характерных ролей, человек со средствами, совершенно одинокий Ильков был скуп до крайности.

В Самаре он остановился из экономии вместе с Васей Васильевым, который был тоже скуповат. Все расходы по номеру они платили пополам и даже чай пили пополам — один день Вася заваривал свой чай, а другой Ильков свой, причем каждый имел свой сахар.

Как-то Бурлак и я отправились к Илькову по неотложному репертуарному делу, но не застали его дома. Вася предложил нам чай и налил по стакану. Я взял стоявшую на столе зеленую стеклянную сахарницу, хотел ее открыть, но Вася схватил меня за руку и закричал с испуганным видом:

— Не тронь, это сахар Илькова! Вот мой, клади его, вот этот.

— Да не все ли равно — твой сахар или Илькова?

— Да что ты. Там у него муха сидит.

Из дальнейшего рассказа Васи выяснилось, что Ильков, подозревая номерную прислугу в краже кусочного сахара,

Программа цѣна 10 коп.

Нижній-Новгородъ.

ВЪ ГОРОДСКОМЪ ТЕАТРѢ,

въ ВОСКРЕСЕНЬЕ 8 Мая 1883 г.

Товариществомъ Московскихъ русскихъ драматическихъ артистовъ,

подъ управленіемъ В. Андреева-Бурлака,

въ бенефисъ М. И. Писарева,

представлено будетъ:

ЛѢСЪ.

Комедія въ 5 дѣйствіяхъ, соч. А. Н. Островскаго.

Дѣйствующія лица:

Раиса Павловна Гурмыжская, вдова, богатая помѣщица . . г-жа Рютчи.
Аксинья Даниловна, (Аксюша) ея дальняя родственница,
бѣдная сиротка . . . . . г-жа Глама-Мещерская
Евгеній Аполлоновичъ Милоновъ . . . . . г. Яковъ.
Уаръ Кириллычъ Бодаевъ . . . . . г. Петровъ.
Иванъ Петровичъ Восмибратовъ, купецъ торгующій лѣсомъ г. Рютчи.
Петръ, его сынъ . . . . . г. Рыжовскій.
Алексѣй Сергѣевичъ Булановъ, молодой человѣкъ, недо-
учившійся въ гимназіи . . . . . г. Шмитевъ.
Геннадій Несчастливцевъ . . . . . г. ПИСАРЕВЪ.
Аркадій Счастливцевъ . . . . . г. Андреевъ-Бурлакъ.
Карпъ, лакей Гурмыжской . . . . . г. Васильевъ.
Терешка, мальчикъ Восмибратова . . . . . * * *
Улита, ключница . . . . . г-жа Очкина.

Начало въ 8 часовъ вечера.

Слѣдующій спектакль въ Понедѣльникъ 9 мая 1883 г.

Афиша спектакля «Лес»

каждый раз, напившись чаю, ловил муху, сажал ее в сахарницу и закрывал крышкой.

У Бурлака губа удивленно оттопырилась, а потом он бешено расхохотался.

— Как откроет и мухи нет, значит, он и знает, что сахар воровали,— продолжал Вася.

Бурлак молча встал и начал ловить мух на окнах и на столе.

— Вот я ему удружу, доставлю удовольствие.

Изловив мух, Бурлак поодиночке сажал их в сахарницу и аккуратненько закрывал крышку.

Конечно, я помогал ему в этой затее, и даже Вася одну поймал:

— Пятнадцатая.

Вернувшись в театр, мы рассказали о проделке всей труппе. Вечером шел «Лес». Ильков, игравший Милонова, был очень сконфужен, потому что Вася рассказал ему за вечерним чаем о нашей шутке. Но никто не подавал виду, что знает о мухах. Ильков успокоился, но перед самым выходом Глама спросила его:

— Ильков, правда, что вы чай пьете с мухами?

Ильков не успел рта разинуть, как помощник режиссера вытолкнул его на сцену. Старый, опытный актер так сконфузился, что забыл свои слова и спутал сцену.

На другой день он переехал в отдельный номер, рассердившись на Васю, а Бурлаку пришлось из своего кармана приплачивать ту половину за номер, которую платил Ильков.

* * *

Бурлак был настоящий волгарь, он родился и вырос на Волге и скончался в 1888 году в Казани, куда приехал совершенно больным из своих бесчисленных скитаний по России.

Великолепный актер, блестящий рассказчик, талантливый писатель, добрый, жизнерадостный человек, он оставил

А. Я. Глама-Мещерская

яркий след в истории русского театра, перенеся на сцену произведения наших великих писателей, и не мечтавших, когда они писали, что мысли и слова их, иллюстрируемые живым человеком, предстанут на сцене перед публикой.

Бурлак первым стал читать в костюме и гриме «Записки сумасшедшего», рассказ Мармеладова, рассказ капитана Копейкина. Он основал Товарищество драматических артистов, которое в 1883 году объехало поволжские города с небывалым успехом, познакомило глухую провинцию с московскими знаменитостями.

Импровизатор и рассказчик Бурлак был неподражаемый. Все совершалось им легко, как бы между прочим, в вихре жизни, в безалаберных порывах, окутанное сетью анекдотов, скрывающих глубину замысла и серьезность исполнения.

Василий Николаевич Андреев, сын небогатого помещика, симбирский дворянин, родился и вырос в имении отца на Волге и юношей поступил на буксирный пароход помощником капитана, а потом сам командовал пароходом.

Капитанов Андреевых на Волге было много, и, чтоб отличить одного от другого, к фамилии Андреева прибавляли название парохода, командиром которого он был. Таким образом, были: Андреев-Ольга, Андреев-Святогор, Андреев-Миссисипи и Андреев-Бурлак. Последний командовал пароходом «Бурлак» и, перейдя на сцену, а потом и в печать, оставил себе этот псевдоним.

О своем первом «театральном» выступлении он нам рассказывал следующее:

— Как-то из Нижнего — еще помощником капитана был — вез я с ярмарки купцов. Конечно, пили в дороге зло. Один из купцов, самарский миллионер, мужчина здоровеннейший, начал бить в каюте посуду и буянить так, что ко мне прибежали собутыльники с просьбой утихомирить «его степенство». Спускаясь с мостика, заглядываю в каюту: народу человек восемь, все боятся, а купчина лупит

бутылкой по тарелкам и неистово орет. Остальные тоже пьяные, но присмирели. Я отворил сразу дверь, да как крикну, глядя на него: «Пожар! Спасайся, кто может!» Буян первый выскочил, да споткнулся, растянулся на полу и встать не может. Его без чувств подняли и отнесли в каюту. На другой день, уже трезвый, входит купчина на мостик, хлопает по плечу, смотрит мне пристально в глаза и совершенно серьезно говорит: «Знаешь, что? Брось ты это свое капитанство и поступай в актеры, большие деньги получать будешь. Как ты гаркнул вчера, когда я увидал твою испуганную рожу, не помня себя, бросился спасаться, а потом уж ничего не помню!» Позднее, уже зимой, как-то в клубе, в Симбирске, я в своем кружке рассказывал этот случай, а с нами был Александр Андреевич Рассказов. Он ставил дивертисмент на клубной сцене и уговорил меня выйти на сцену и повторить рассказ.

Успех был громадный, и впоследствии Бурлак стал по зимам выступать в дивертисментах как рассказчик, сперва любителем, а потом попал он в Саратов в труппу Костромского. Так, шутя, начал свою блестящую карьеру Василий Николаевич Андреев-Бурлак.

ЯРКАЯ ЖИЗНЬ

Из всех театральных знаменитостей моей юности дольше других оставалась в живых А. А. Бренко. На моих глазах полвека сверкала ее жизнь в непрерывной борьбе, без минуты покоя. Это был путь яркой кометы, то ослепительной в зените, то исчезавшей, то снова выплывавшей между облаками и снова сверкавшей в прорывах грозовых туч.

В последний раз она особенно ярко сверкнула в 1924 году и затем стала угасать.

Я видел ее полвека назад в зените ее славы, видел ее потухающей и отгоревшей. Газеты и журналы 1924 года были полны описанием ее юбилея. Вся ее деятельность отмечена печатью, но меня, связанного с ней полувековой ничем не омраченной дружбой, неудержимо тянет показать кусочки ее творческой жизни.

Отметить юбилей А. А. Бренко собрались ее ученики, делегаты от рабочих организаций, члены драмкружка Пречистенских рабочих курсов. В переполненных ложах красные платочки, рабочая молодежь и красноармейцы, пришедшие чествовать товарища А. А. Бренко.

Она, старушка, в ореоле седых волос, с еще свежим, добродушным лицом, сидит в кресле на сцене, принимает приветствия. Всерабис командировал театрального рецензента Э. М. Бескина. После блестящей речи он оглашает постановление Наркомпроса о даровании Анне Алексеевне Бренко звания заслуженной артистки.

Еще не успели отзвучать аплодисменты, как перед ней появляется молодой рабочий с целой охапкой цветов и кладет их к ногам юбилярши...

Одна депутация сменяет другую. Я чествую моего старого друга, вспоминая нашу молодость в стихах:

...Десятки лет назад
Ей поклонялись две столицы,
В кружке блестящей этой жрицы
Встречал я знаменитых ряд:
Тургенев, Достоевский и Островский,
Успенский Глеб, Потехин Алексей,
Полонский, Юрьев, Михайловский,
Плещеев, Рубинштейн... Бывали все у ней.

Глаз Чехова, мерцающий и зоркий,
Глядит в восторге с высоты галерки
На сцену, где Далматов и Бурлак-Андреев,
Козельский, Писарев, и Глама, и Киреев,
Где Южин, юноша тогда, с студенческой скамьи
Уж крылья расправлял могучие свои.

И помню я ее в тяжелые годины,
Когда она была еще так молода,
Но в волосах снежились горькие седины,
Свидетели борьбы, и горя, и труда.

И знаю я ее среди рабочих,
Когда она им об искусстве говорит,—
Каким восторгом блещут слушателей очи,
Как старый голос молодо звучит.
Зовет народ из мрака к просвещенью,
К познанью истины, добра и красоты.
Себя ты отдала народному служенью,
В твоих учениках живут твои мечты.

Первый раз я увидел А. А. Бренко в пасхальную заутреню при мерцающем свете, на миг ярко освещенную вспышкой бенгальского огня,— и первая мысль была:

«Ай да Вася! Какую красавицу подхватил!»

Она шла под руку с прихрамывавшим В. Н. Андреевым-Бурлаком, который сразу узнал меня и отрекомендовал своей даме, спросив раньше, откуда я приехал.

— Из Пензы, места искать,— ответил я.

— Значит, вы чужой в Москве? Ну, так пойдемте к нам разговляться, и будете наш. Поступайте ко мне в театр, сто рублей в месяц устраивает вас?

Пришли пешком в Петровские линии. Квартира в бельэтаже роскошная, обстановка чудесная, дорогие картины. Столовая блестит серебром и хрусталем, расцвечена крашеными яйцами и букетами в вазах. Общество все было в сборе, и ждали хозяйку дома.

После праздничных приветствий уселись за столом. Мужчины сверкали белоснежным бельем из-под черных сюртуков артистов и адвокатских фраков, а дамы, артистки,— роскошными модными платьями и драгоценностями. Только старуха Е. Ф. Красовская, по-старинному, была гладко причесана, и на ней была накинута настоящая персидская шаль, как я узнал потом, огромной цены, а на груди старомодного шелкового платья сверкала брил-

лиантами золотая лира, поднесенная ей в один из провинциальных бенефисов. Рядом с ней ее муж, второстепенный артист, всегда приглашавшийся на хорошее жалованье благодаря жене, которая с ним не расставалась.

— Красовская шестьсот и хвост полтораста — итого семьсот пятьдесят,— шутя считал, просматривая список жалованья, муж А. А. Бренко, Осип Яковлевич Левенсон, красивый, с черными баками, модный присяжный поверенный и лучший музыкальный критик того времени, работавший в «Русских ведомостях».

— Писарев восемьсот и привесок семьдесят пять... Это недорого,— улыбался он, читая дальше список.

Знаменитый Модест Иванович Писарев, лучший Несчастливцев и Ананий Яковлев, игравший вместе со своей первой женой П. А. Стрепетовой «Горькую судьбину», подняли пьесу на такую высоту, какой она не достигала даже в Малом театре. Если огромный, красивый, могучий Писарев был прекрасен в этой роли, то Стрепетова, маленькая, немного сутулая, была неотразимо великолепна.

Величественный Писарев за столом сидел рядом со своей новой женой — молодой красавицей, изящной А. Я. Главой-Мещерской. И она и Стрепетова служили у А. А. Бренко.

Рядом со мной сидел Василий Васильевич Васильев, крошечный, с черными кудрявыми волосами и маленькими черными глазенками, злобно и строго бегавшими из-под нависших бровей. М. И. Писарев всегда брал его с собой. Он служил всегда там, где служил Писарев. В его кармане всегда имелись или свежие прокламации, или швейцарские издания, или последний номер «Народной воли», о чем знали только его друзья. Я с ним познакомился и подружился впервые еще в 1876 году, когда служил в Кружке, и не раз ночевал в его номеришке в «Черных шах», на Тверской.

А. А. Бренко

Дружеская встреча с ним на разговенье у А. А. Бренко сразу подняла меня в глазах тех, кто знал Васю и кто знал, что он живет по паспорту клинского мещанина Васильева, а на самом деле он вовсе не Васильев, а Шведевенгер, скрывшийся из Петербурга во время обыска в «слепцовской коммуне» в Эртеловом переулке. На месте того старого дома, где была эта коммуна, впоследствии А. С. Суворин выстроил огромный дворец для своей газеты «Новое время».

В. В. Шведевенгер во время ареста ухитрился бежать в Казань, встретился с Писаревым, а потом поступил на сцену вместе с ним, да так и остался выходным актером и вместе ярым пропагандистом. Он был связующим звеном между революционерами, ютившимися тогда в Петровском-Разумовском, и избранной компанией А. А. Бренко, которая щедро давала средства на помощь политическим заключенным и ссыльным.

Из присутствовавших за столом немногие знали о революционной деятельности Шведевенгера: из труппы — только Писарев, Стрепетова, Глама, суфлер Н. А. Корнев, а из гостей — С. А. Юрьев, седобородый, волосатый, подслеповатый, похожий на невыспавшегося Зевса переводчик пьесы «Фуэнте Овехуна» Лопе де Вега, нотариус И. А. Маурин — свой человек при театре Бренко, другой нотариус Орлов, бежавший впоследствии в Швейцарию в связи с «первым марта», и адвокат Иогихес.

Знал еще о Васильеве Ф. А. Корш, товарищ О. Я. Левенсона с университетской скамьи, и, конечно, знал В. Н. Андреев-Бурлак.

Обо всем этом я услышал позднее, а теперь Вася меня знакомил в тихом разговоре с окружающими.

К одним — поклонение, к другим — злоба, причем глаза его свирепо смотрели.

Он улыбнулся, указывая на худющего, длинного, вечно вышучивавшего его актера Матрозова, и окрестил его:

П. А. Стрепетова

— А это самарский голод!

От него я узнал о происхождении Пушкинского театра, который Бренко из скромности назвала на афише: «Театр близ памятника Пушкина». Он перечислял имена, рассказывал, что в середине семидесятых годов перед турецкой войной в Московском университете кончила юридический факультет компания франтов, записалась в помощники к известным адвокатам и сразу засверкала ярким либерализмом, выступая на суде. Молодые, красивые, они вошли желанными гостями в барские и купеческие дома, и в результате женились на богатых невестах. Так, Ф. А. Корш женился на Шевелкиной, Левенсон на артистке Малого театра А. А. Бренко, дочери помещика Челищева, которая свой псевдоним взяла в память какого-то своего предка чуть ли не времен Александра Невского.

Один из этой группы юристов, Шацкий, открыл типографию во флигеле во дворе Пушкинского театра, где много лет печатался журнал «Будильник». Иогихес сделался юрисконсультом Малкиеля, который во время русско-турецкой войны был поставщиком обуви на заграничную армию, нажил миллионы и «зашуровал» на всю Москву. Он и купил сразу два дома-дворца на Тверской.

Один дом — на углу Козицкого переулка, где в двадцатых годах был знаменитый салон Зинаиды Волконской, у которой бывал Пушкин. Потом, по преданию, в этом доме «водились черти», а затем владелец его князь Белосельский-Белозерский продал его Малкиелю. Он купил его на имя своей жены Нины Абрамовны, которая, узнав, что в доме был салон княгини Волконской, тоже затеяла у себя салон, но, кроме адвокатов, певцов и артистов, на ее журфиксах, с роскошным угощением, никого не бывало.

Второй дом — напротив, на углу Гнездниковского переулка, где тоже, по легендам, «черти водились», когда там был зверинец Крейцбурга.

Нина Абрамовна скоро уехала в Париж.

— В золотой карете там ездит! В газетах об этом пишут,— заговорили по Москве.

Во время журфиксов у Нины Абрамовны Иогихес познакомил Малкиеля со своим другом Левенсоном и его женой Бренко, которая в пассаже Солодовникова открыла свой театр и сразу, благодаря замечательно составленной Андреевым-Бурлаком труппе, стала успешно конкурировать с Малым театром: сборы были прекрасные.

Иогихес уговорил Малкиеля выстроить театр для Бренко. Пока Нина Абрамовна каталась по Парижу в золотой карете, старый нувориш, скучавший без журфиксов, весь отдался постройке театра, пригласив руководителем строительства известного архитектора М. Н. Чичагова. Вскоре вместо дома, где «водились черти», вырос роскошный театр. Мраморная лестница. Бронзовые золоченые перила, азиатские ковры, статуи в фойе, прекрасная сцена и зрительный зал. Так создался театр, который печать величала «Пушкинским», а вся Москва и вся провинция называла «Театром Бренко».

Безумные деньги тратились на труппу. Актеры получали неслыханное до сих пор жалованье. Обстановка и костюмы стоили сумасшедших денег. Огромные сборы не покрывали расходов. Их оплачивал увлекавшийся театром Малкиель, еще пока не знавший счета нажитым в два года войны миллионам. Но, наконец, Нина Абрамовна вернулась в Москву, и снова начались, но только раз в неделю, журфиксы. Приглашались уже только «первые персонажи».

Преобладали черные фраки адвокатов, защитников гостей салона, нуворишей в прошлом и будущем. Лилось шампанское. Бывший колонный зал Зинаиды Волконской уцелел, как был при ней, а наружный фасад дома был обезображен Малкиелем. Его изуродовали двумя огромными балконами, выходившими на Тверскую и изо-

бражавшими собою раковины с волнами лепных украшений.

Но должно быть, подрядчик-строитель скопеечничал и произвел лепку из плохого материала. Как-то в один из журфиксов, когда по Тверской еще гуляла публика, пировавшие были испуганы грохотом падения кирпичных массивов и затем криками ужаса и стонами раненых: лепные украшения балкона рухнули на проходивших.

На другой день жадные тогда на сенсации газеты в подробностях сообщали о несчастном случае на Тверской, а воскресный фельетонист одной борзой газеты озаглавил свое произведение: «Дом из бумажных подметок». Он рисовал картины переходов по снежным Балканам войск в развалившихся сапогах: бумажные подметки отвалились, ноги отморожены, лазареты полны... Чего-чего уж тут не упоминалось! И в результате новое следствие. Адвокаты дождались работы... Тысячные взятки... Кредиторы, по-явившиеся за время безумных трат, пристали с ножом к горлу... Пошли взыскания... Дом, где помещался театр, был продан. Полные сборы театра А. А. Бренко не окупали производившихся расходов, и театр сразу прогорел.

А. А. Бренко осталась без копейки. Имущество мужа было описано за долги. Левенсон снова весь ушел в свою адвокатскую и литературную работу в «Русских ведомостях», продолжая выплачивать наседавшим кредиторам долги по театру.

Умер О. Я. Левенсон, окончательно замученный кредиторами. У А. А. Бренко было два малолетних сына. Младший сын, Володя, учился в гимназии, потом окончил Московский университет, стал присяжным поверенным, но его клиентура была небогатая, и он перебивался с трудом.

Я помню одну его блестящую защиту в 1907 году, где его подзащитным-рабочим, привлеченным по политическому делу, грозили каторжные работы, но он на суде добился

полного оправдания всех. После революции он продолжал свою деятельность в коллегии защитников, но вскоре умер.

Старший сын, Жозя, был с детства ненормальный и доставлял много страданий Анне Алексеевне. Ненормальность перешла в буйное помешательство, и он умер во время одного припадка на руках матери.

После блеска московской жизни обстоятельства забросили А. А. Бренко в Киев, где она с несокрушимой энергией принялась за новую театрально-педагогическую работу. Результатом был выпуск ряда замечательных артистов. Известный режиссер А. П. Петровский был ее учеником.

Какую блестящую биографию можно написать о А. А. Бренко! Ее жизнь — тема для захватывающего романа.

* * *

Времена Пушкинского театра... И. С. Тургенев, А. Н. Островский, С. А. Юрьев, профессора, ученые, музыканты, артисты окружали Анну Алексеевну, бывали у нее в квартире.

За это время она стала известна и сама как драматург: восемь пьес ее шли на сцене. К ней приходили люди нуждавшиеся, и никому, пока у нее были средства, отказа не было. В ее гостиной устраивались вечера в пользу политических ссыльных, она много помогала учащейся молодежи.

* * *

А. А. Бренко как-то всегда жила на много лет вперед и доказала это своим последним трудом: созданием первого рабочего театра и первой рабочей бесплатной школы сценического искусства.

Зимой в 1905 году на сцене Художественного кружка ею была поставлена «Гроза», исполнителями которой были рабочие с заводов, все ее ученики, подготовленные за год в ее школе. Только Кабаниху она играла сама.

С огромным успехом прошел спектакль, и с той поры эта труппа, все пополняемая новыми учениками, исключительно из рабочих, начала играть по московским окраинным театрам, на фабриках и заводах. А студия под ее управлением давала все новые и новые силы.

* * *

Грянула революция. Нахлынула гражданская война, и шестидесятипятилетняя Анна Алексеевна Бренко со своей рабочей труппой в продолжение трех лет обслуживает Павелецкую железную дорогу, от Москвы до Раненбурга, работая неустанно с людьми и для людей, которым она отдает все свои силы.

После долгого перерыва я увидел Анну Алексеевну в 1921 году. Она жила в одной из комнат той же квартиры в переулочке близ Смоленского рынка, где еще недавно была ее рабочая студия.

Тогда в большом ободранном зале была небольшая сцена, на которой я застал ее, репетировавшую со своими учениками, сплошь рабочими, «На дне». Пьеса была показана в театре б. Корша в день празднования ее полувекового юбилея в 1924 году.

В последней раз я застал ее лежавшей на кровати. Она ласкала любимую кошку.

— Анна Алексеевна, узнали?

— Милый Гиляй, как же тебя не узнать? Слышу твой голос, а тебя не вижу, я совсем ослепла. Подойди сюда, поцелуй меня.

Мы расцеловались. Пошли воспоминания. Я принес ей папирос, коробку мармелада.

— Мармелад. Все-то ты помнишь. Помнишь, что всегда это было мое самое любимое лакомство?.. Помнишь, как мы чаек с мармеладцем пивали у Соломенной сторожки?

Не забыл.

А. И. ЮЖИН

Дача Бренко находилась в Петровском-Разумовском, у Соломенной сторожки. Тогда еще даже конки туда не было. Прекрасная дача, двухэтажная, богато обставленная. По субботам всегда гости: свои артисты, профессора, сотрудники журнала «Русская мысль», присяжные поверенные — товарищи Левенсона.

Между чаем и ужином — карт в этом доме не было — читали, Андреев-Бурлак рассказывал, М. Н. Климентова, недавно начавшая выступать на сцене и только что вышедшая замуж за С. А. Муромцева, пела. Однажды, не успели сесть за ужин, как вошли постоянные гости этих суббот: архитектор М. Н. Чичагов — строитель Пушкинского театра и общий друг артистов, П. А. Маурин — нотариус и театрал. Их встретили приветствиями и поднятыми бокалами, а они в ответ, оба в один голос:

— Бедного Пукирева паралич разбил!

— Полное одиночество и ни копейки в доме.

— Хорошо, что сюда приехали. Сейчас что-нибудь сделаем,— первой отозвалась Бренко.

— Да куда же, кроме вас, Анна Алексеевна.

Художник В. В. Пукирев только что вошел в славу. Его картина, имевшая огромный успех на выставке, облетела все иллюстрированные журналы. Ее, еще не конченную, видел в мастерской П. М. Третьяков, пришел в восторг и тут же, «на корню», по его обычному выражению, купил для своей галлереи. И сейчас эта картина там: «Неравный брак». Старый звездоносец-чиноша, высохший как мумия, в орденах и ленте, и рядом юная невеста, и

...Священник старый
Кольца уж меняет
У неравной пары.

Церковь богато освещена. Среди разодетой публики, в стороне, скрестив руки на груди,— любимая поза красавца

В. В. Пукирева,— безнадежно смотрит на венчание высокий, стройный молодой человек. Чиновник-родитель выдавал за старую мумию, своего начальника, единственную дочь — невесту, и художник дал в картине свой автопортрет. Это знала Москва.

На слова Бренко первым молча откликнулся редактор «Русской мысли» В. М. Лавров, вынув из кармана и положив на стол три «катерины» — три радужные сторублевки.

Сюртуки начали расстегиваться, зашуршали кредитки...

Встал редактор «Будильника», изящный Н. П. Кичеев.

— Должен вас предупредить, что из этого может ничего не выйти. Пукирев горд до щепетильности, он скорее умрет с голоду, чем согласится принять деньги и помощь по подписке.

Со сверкающими глазами поднялся широкоплечий, стройный Южин.

— Я глубоко понимаю вашего друга,— обратился он к Кичееву,— и предложил бы иной путь помощи: сделаем литературный вечер в его пользу. Это будет признательность публики любимому художнику, а собранную здесь сумму присоединим к сбору.

А. И. Южину устроили овацию. Я под шумок вышел в соседнюю комнату — кабинет Анны Алексеевны, где мы обыкновенно составляли с ней афиши,— сел за знакомый стол, и, когда окончил стихотворение «Неравный брак», ужин продолжался и обсуждалась программа вечера. Моего отсутствия, конечно, никто не заметил.

— Прошу минуту внимания. Александр Иванович так меня увлек своей идеей вечера, что я написал стихи «Неравный брак», посвящаю их Пукиреву и прошу разрешения прочесть.

Прочитав, при аплодисментах, я их передал Южину.

— Дорогой Александр Иваныч, прошу вас не отказать прочесть их на вечере.

А. И. Южин

Южин сорвался со стула, обнял меня, у обоих у нас были слезы на глазах. Это было мое первое знакомство с ним. Программа была тут же составлена — артисты были налицо.

Через несколько дней я получил программу на веленевой бумаге и пригласительный почетный билет от богача И. А. Кошелева, создателя «Русской мысли». Концерт был частный, билеты были распределены между знакомыми, цензуры никакой. Я ликовал. Еще бы, я, начинающий поэт, еще так недавно беспаспортный бродяга, и вдруг напечатано: «Стихотворение В. А. Гиляровского — прочтет А. И. Южин».

Жил я в это время на Тверской, в хороших меблированных комнатах «Англия», в доме Шаблыкина, рядом с Английским клубом, занимая довольно большой перегороженный номер. У меня в это время пребывал спившийся с кругу, бесквартирный поэт Андреев, печатавший недурные стихи в журналах под псевдонимом «Рамзай-Соколий».

Тайну этого псевдонима знал один я. Андреев был сын управляющего имением пензенского помещика Соловцова, державшего богатую псовую охоту. Лучшими собаками были два кобеля: густопсовый Рамзай, бравший волка в одиночку, и хортый англичанин Соколий, от которого ни один заяц не уходил.

Молодой Андреев стал участвовать в попойках с Соловцовым и за пьянство был исключен из гимназии.

После смерти отца Андреев поссорился с Соловцовым, ушел в Москву, попал хористом в общедоступный театр, познакомился с редакциями, стал изредка печататься, потом от пьянства потерял голос и обратился в хитрованца. В это-то время я его и приютил. В честь любимых им соловцовских собак и взял он свой псевдоним.

В день концерта, назначенного в девять часов, я с утра ушел на работу и прямо попал на большой пожар у Ро-

гожской, продолжавшийся весь день, а оттуда поехал в редакцию, где наскоро написал отчет, торопясь домой, чтобы переодеться для концерта.

Меня, еще пахнувшего дымом и непросохшего, встретили самые сердечные объятия и пьяные лобзания Васи Григорьева и Сережи Евстигнеева.

Друзья еще утром ввалились ко мне, проездом из Вологды в Тамбов. В Вологде лопнула антреприза Савина: они были без копейки в кармане, так что и за извозчика с вокзала заплатил коридорный Спирька, знавший Григорьева, останавливавшегося у меня ранее.

На круглом столе, без скатерти и тарелок, лежали калачи, булки, огурцы и нарезанная колбаса, стояла уже приходившая к концу четвертная бутыль водки и рюмки.

Рамзай-Соколий и Спирька никак не могли подняться с дивана. Пока я сбрасывал с себя сырое пальто, Спирька, шатаясь, подошел мне помогать, но я ни на что не обращал внимания, всем помышлением находясь на концерте, где А. И. Южин должен был читать мои стихи.

— Спирька, живо мне умыться, да приготовь черную пару! Почисти сюртук!

— Фю-ить! — свистнул он, указывая на пьяный стол.— Вот он, сертук-то!

Выяснилось, что, когда приехали нежданные гости, Рамзай-Соколий заложил за четыре рубля мой парадный сюртук, Спирька сбегал за водкой, и все четверо к моему приезду были уже на втором взводе. Все старались утешить меня, когда я потерял последнюю надежду, узнав, что ссудная касса закрывается в семь часов вечера... Вася, который был трезвее других, играл на гитаре и пел свою любимую студенческую песню:

Стою один я пред избушкой,
Кругом все тихо и темно,
И с этой бедною лачужкой
Так много дум сопряжено.

Потом многие из бывших на концерте при встречах спрашивали, почему меня не было.

— А мы вызывали, вызывали вас, автора!

Южин очень жалел, что меня не было.

— Мне пришлось выйти за вас и сказать публике, что автор стихотворения на пожаре у Рогожской, и это было встречено шумным приветствием. А сообщил об этом гласный думы Шамин, который два часа назад ехал мимо и видел вас рядом с брандмайором Потехиным: «Оба в саже, оба мокрые!»

С этих дней и началась наша, до самой кончины незабвенного Александра Ивановича Южина, ничем ни разу не омраченная дружба.

Почти полвека постоянных летучих московских встреч, стремительных в кипении столичной жизни, между людьми соприкасающихся профессий. Самыми простыми и задушевными были те, где за стаканами кахетинского пели грузинские застольные песни.

Александр Иванович был председателем Грузинского общества. Вечера в пользу учащихся, устраиваемые этим обществом, отличались такой простотой и красотой экзотики, с очаровательной лезгинкой, что самая разнообразная публика столицы битком набивала Колонный зал теперешнего Дома союзов, и половина ее не могла сдержаться, чтобы не хлопать в ладоши в такт лезгинки.

Приглашенных гостей встречали при входе в зал члены общества и председатель — Александр Иванович.

Вечер, посвященный Акакию Церетелли. Группа студентов при входе в зал подносит букет из роз своему товарищу, студентке, переводчице поэта, и два депутата, в красных черкесках, провожают ее до ее кресла.

Самого Акакия Церетелли Грузинское общество чествовало, справляя его юбилей, в Большом зале Литературно-художественного кружка, председателем которого тоже был Александр Иванович.

Ужин после заседания носил кавказский характер, с неизбежным «Мраволжамиер». Этой грузинской застольной песнью, чередовавшейся с чтением актерами стихов Акакия Церетелли в русском переводе и с речами, чествовали старика-поэта до утра.

М. В. ЛЕНТОВСКИЙ

Над входом в театр «Эрмитаж» начертано было: «Сатира и мораль».

Это была оперетка М. В. Лентовского, но оперетка не такая, как была в Москве до него и после него.

У него в оперетке играли С. А. Бельская, О. О. Садовская, Зорина, Рюбан (псевдоним А. В. Лентовской, артистки Малого театра), О. И. Правдин, Родон, Давыдов, Фюрер, певец Большого театра.

Публика первых представлений Малого и Большого театров, не признававшая оперетки и фарса, заполняла зрительный зал театра Лентовского в бенефисы своих любимцев. В 1882 году, в первом году его блеска (год Всероссийской выставки), в саду «Эрмитаж», залитом (впервые в Москве) электричеством, кто-то в публике, указывая на статную фигуру М. В. Лентовского в белой чесучовой поддевке, бросил крылатое слово:

— Московский маг и чародей.

Слово это подхватили газеты, и это имя осталось за ним навсегда, но никто не знал, чего это имя ему стоило.

Лентовским любовались, его появление в саду привлекало все взгляды много лет, его гордая стремительная фигура поражала энергией, и никто не знал, что, прячась от ламп Сименса и Гальске и ослепительных свечей Яблочкова в кустах за кассой, каждый день, по очереди, дежурят

три черных ворона, три коршуна, «терзающие сердце Прометея».

Это были ростовщики. Они поочередно, день — один, день — другой, день — третий, забирали сполна сборы в кассе.

Как-то одного из них Лентовский увидал в компании своих знакомых, ужинавших в саду, среди публики. Сверкнул глазами, прошел мимо. В театре присутствовал «всесильный» генерал-губернатор князь Долгоруков. Лентовский торопился его встретить. Возвратившись обратно, он ищет глазами ростовщика, но стол уже опустел, а ростовщик разгуливает по берегу пруда с сигарой в зубах.

— Ты зачем здесь? Тебе сказано сидеть в кустах за кассой и не показывать своей морды в публике!

Тот ответил что-то резкое — и через минуту летел вверх ногами в пруд.

— Жуковский! Оболенский! — крикнул Лентовский своим помощникам.— Не пускать эту сволочь дальше кассы, они ходят сюда меня грабить, а не гулять!

Весь мокрый, в тине, без цилиндра, который так и остался плавать в пруду, обиженный богач бросился прямо в театр, в ложу Долгорукова, на балах которого бывал как почетный благотворитель. За ним бежал по саду толстый пристав, и догнал его, когда он уже отворял дверь в губернаторскую ложу.

— Это что такое? — удивился Долгоруков, но подоспевший Лентовский объяснил ему, как это было.— Ростовщик? И жаловаться? В каком вы виде! Пристав, отправьте его просушиться! — приказал Долгоруков.

Старый солдат исполнил приказание по-полицейски: продержал ростовщика до утра в застенке участка и, просохшего, утром отпустил домой.

И эти важные члены благотворительных обществ, домовладельцы и помещики, как дворовые собаки, пробирались сквозь контроль в кусты за кассу и караулили сборы!

М. В. Лентовский и артисты В. И. Родон, С. А. Бельская, В. В. Зорина, А. В. Запольская

А сборы были огромные, но расходы все-таки превышали их: уж очень широк был размах Лентовского.

Только «маг и волшебник» мог создать из развалин то, что сделал Лентовский в саду «Эрмитаж». Когда-то там было разрушенное барское владение с вековым парком, огромным прудом и остатками дворца; потом француз Борель, ресторатор, устроил там немудрые гулянья с буфетом, эстрадой и небольшой цирковой ареной для гимнастов. Дело это не привилось и перебивалось «с хлеба на квас».

Приехал как-то в этот сад Лентовский. Осмотрел. На другой день привез с собой архитектора, кажется, Чичагова. Встал «в позу Петра Великого» и гордо сказал:

— Здесь будет город заложен!

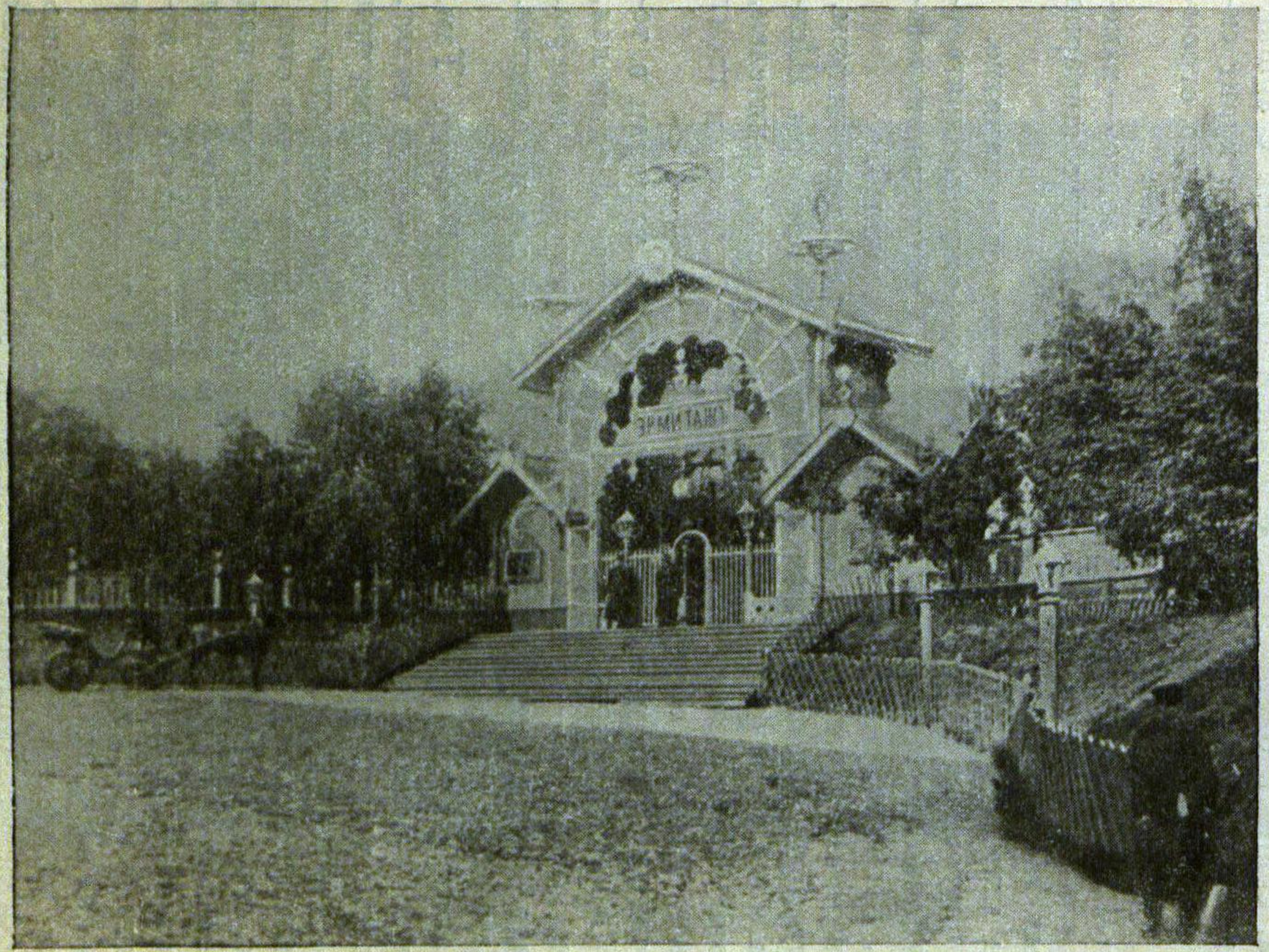
Говорит и то размахивает руками, будто рисует что-то, то чертит палкой на песке.

— Так!.. Так!.. «И запируем на просторе!..»

И вырос «Эрмитаж» среди задворок убогих домишек между Божедомским переулком и Самотекой, засверкал огнями электричества и ослепительных фейерверков, загремел оркестрами из знаменитых музыкантов!

* * *

Летний московский вечер. В саду «Эрмитаж» головка московской публики. Гремит музыка перед началом спектакля. На огромной высоте, среди ажура белых мачт и рей, летают и крутятся акробаты, над прудом протянут канат для «русского Блондека». На середине огромной площадки цветники с фонтаном, за столиками постоянные посетители «Эрмитажа». У каждого свой столик. Вот редактор «Московского листка» Пастухов со своими сотрудниками. Рядом за двумя составленными столами члены московской Английской колонии, прямые, натянутые, с неподвижными головами. По соседству гудит и чокается — кто шампанским, кто квасом — компания из Таганки, уже



Сад «Эрмитаж». Главный вход

зарядившаяся где-то заранее. На углу, против стильного входа, сидит в одиночестве огромный полковник с аршинными черными усами. Он заложил ногу на ногу, курит сигару и ловко бросает кольца дыма на носок своего огромного лакового сапога. Это полицмейстер Огарев.

— Душечка, Николай Ильич, как это вы ловко,— замечает ему, улыбаясь, одна из трех проходящих шикарно одетых дам.

Он милостиво улыбается и продолжает свое занятие.

А кругом, как рыба в аквариуме, беспорядочно двигается публика в ожидании представления. Среди них художники, артисты, певцы: всем им вход бесплатный.

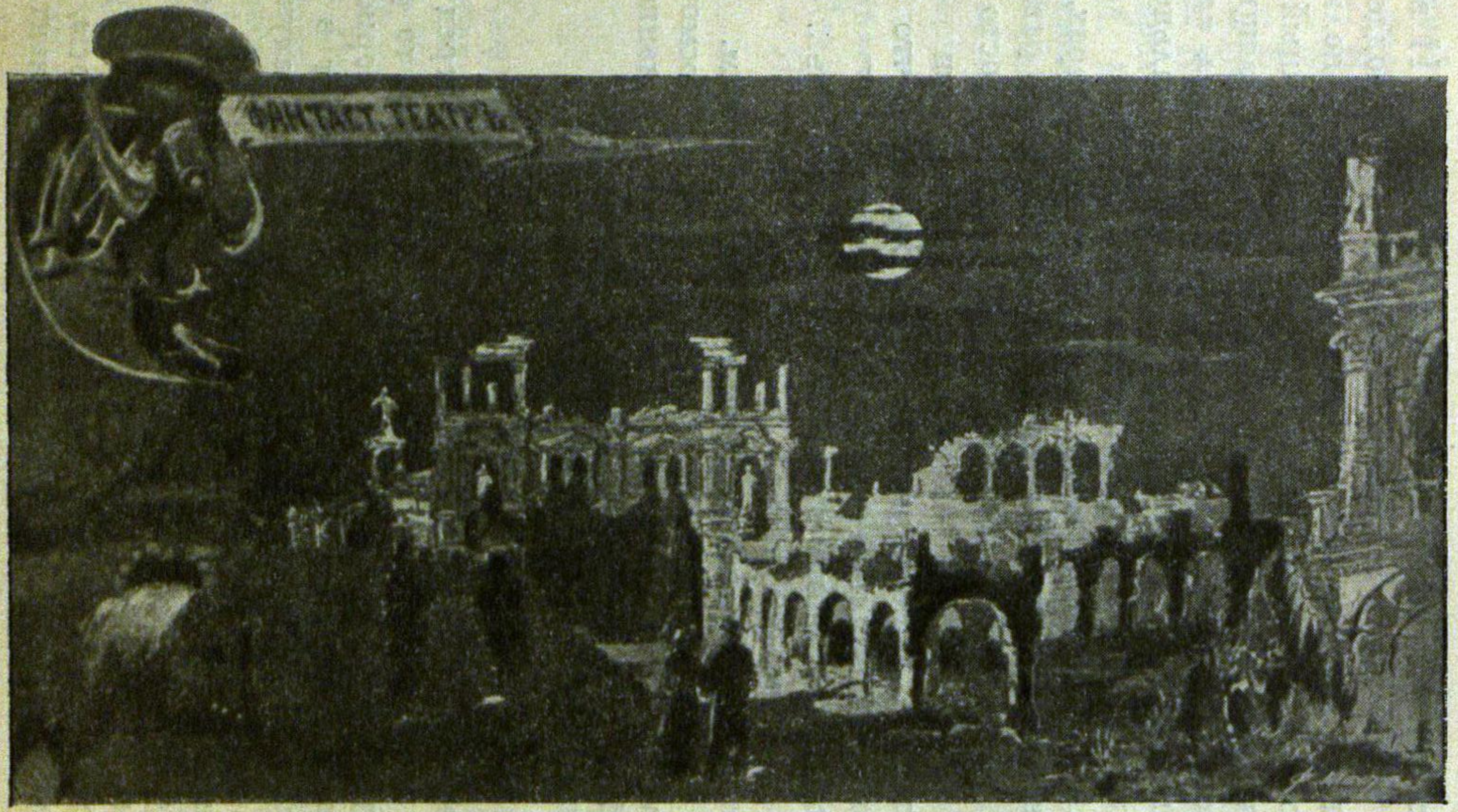
Антон Павлович Чехов с братом Николаем, художником, работающим у Лентовского, вместе с архитектором Шехтелем стоят у тира и любуются одним своим приятелем, который без промаха сшибает гипсовые фигурки и гасит пулькой красные огоньки фигур.

В театре оркестр грянул увертюру, и все хлынули в театр. Серафима Бельская, Зорина, Лентовская, Волынская, Родон, Давыдов — прекрасные голоса, изящные манеры. Ни признака шаржа, а публика хохочет, весела и радостна.

«Сатира и мораль».

В антракте все движутся в фантастический театр. Там, где чуть ли не вчера стояли развалины старинных палат, поросшие травой и кустарником, мрачные и страшные при свете луны, теперь блеск разноцветного электричества — картина фантастическая... Кругом ложи в расщелинах стен, среди дикого винограда и хмеля, перед ними столики под шелковыми, выписанными из Китая зонтиками. А среди развалин — сцена, где идет представление. Откуда-то из-под земли гудит оркестр, а сверху, из-за развалин, плывет густо колокольный звон.

Над украшением «Эрмитажа» и его театров старались знаменитости: Карл Вальц, Гельцер, Левот, выписанный из Парижа, Наврозов, Шехтель, Николай Чехов, Бочаров.



Сад «Эрмитаж». Фантастический театр

Аплодисментам и восторгам публики нет конца. И всюду, среди этого шума и блеска, мелькает белая поддевка Лентовского, а за ним его адъютанты: отставной полковник Жуковский, старик князь Оболенский, важный и исполнительный, и не менее важный молодой и изящный барин Безобразов, тот самый, что впоследствии был «другом великих князей» и представителем царя в дальневосточной авантюре, кончившейся японской войной.

Безобразов тогда уже бывал в петербургских сферах, но всегда нуждался в деньгах и из-за этого выполнял разные поручения Лентовского, а иногда был у него просто на посылках.

— Жуковский, закажи ужин! Скажи Будакову, что Пастухова сегодня кормлю,— он знает его вкусы.

— А ты, князь, опять за уборными не смотришь... Посмотри-ка в павильоне что...

Остается на берегу пруда вдвоем с Безобразовым.

— Так завтра, значит, ты едешь в Париж. Посмотри там, нет ли хороших балерин... Там тебе приказ написан, все подробно. На телеграммы денег не жалей.

— Слушаю, Михаил Валентинович.

* * *

А утром я вижу в «Эрмитаже» на площадке перед театром то ползающую по песку, то вскакивающую, то размахивающую руками и снова ползущую вереницу хористов и статистов, впереди которой ползет и вскакивает в белой поддевке сам Лентовский. Он репетирует какую-то народную сцену в оперетке и учит статистов.

Лентовского рвут на части. Он всюду нужен, всюду сам, все к нему: то за распоряжением, то с просьбами... И великие, и малые, и начальство, и сторожа, и первые персонажи, и выходные... Лаконически отвечает на вопросы, решает коротко и сразу... После сверкающей бриллиантами

важной Зориной, на которую накричал Лентовский, к нему подходит молоденькая хористочка и дрожит.

— Вам что?

— М... м... мм...

— Вам что?

— Михаил Контромарович, дайте мне Валентиночку...

— Князь, дай ей Валентиночку! Да две: небось, с капалером! — И снова на кого-то кричит.

М. В. Лентовский частенько бывал «обязан полицией о невыезде из Москвы».

В один прекрасный вечер он вылетел на воздушном шаре за пределы не только столицы, но даже и Московской губернии. Забеспокоились кредиторы, заявили в полицию, а один из самых злобных даже требовал, чтобы полиция привлекла его за нарушение подписки о невыезде.

Дело кончилось ничем, а Лентовский смеялся:

— Я не давал подписки о невылете.

ТЕАТРАЛЬНАЯ ПУБЛИКА

Каждый московский театр имел свою публику. Самая требовательная и строгая публика была в Малом театре. На первых представлениях всегда бывали одни и те же строгие, истинные любители искусства. Люди, повидавшие все лучшее за границей, они в состоянии были заплатить огромные деньги барышникам или при помощи связей и знакомств получить билеты из кассы.

И рецензенты тогда были строгие и важные. Они занимали места от второго до четвертого ряда: у каждой газеты свое кресло.

Важно и торжественно входили они в зрительный зал, когда уже вся публика сидела на своих местах. Как сей-

час вижу: с биноклем, опершись на барьер, осматривает театр Н. П. Кичеев, стройный, вылощенный сотрудник «Новостей» Нотовича; рядом с ним, всегда неразлучно, А. Д. Курепин, фельетонист «Нового времени».

Вот идет на свое место небольшой, с палочкой, человечек. Это — С. Ф. Флеров, самый серьезный из рецензентов, писавший в «Московских ведомостях» под псевдонимом «С. Васильев»; к его статьям, всегда руководящим, очень прислушивались актеры.

Быстро, почти ощупью, как-то боком пробегал, в сопровождении капельдинера, седовласый С. А. Юрьев и садился рядом с таким же седовласым М. Н. Ремезовым — оба из «Русской мысли». Тут же сидел и А. П. Лукин из «Русских ведомостей», Вл. И. Немирович-Данченко из «Русского курьера» и Н. О. Ракшанин из «Московского листка».

Это были присяжные рецензенты — гроза артистов, всегда одинаковые и неизменные на премьерах всех театров.

На первых представлениях Малого театра, кроме настоящих театралов, бывало и именитое московское купечество; их семьи блистали бриллиантами в ложах бельэтажа и бенуара. Публика с оглядкой, купечески осторожная: как бы не зааплодировать невпопад. Публика невыгодная для актеров и авторов.

В Большом театре на премьерах партер был занят барами, еще помнившими крепостное право, жалевшими прежнюю пору, брюзжащими на все настоящее и всем недовольными.

Зато верхи были шумливы и веселы. Истинные любители оперы, неудавшиеся певцы, студенты, ученики разных музыкально-вокальных школ, только что начавших появляться тогда в Москве, попадающие обыкновенно в театр по контрамаркам и по протекции капельдинеров.

...И шумит, и гудит, и не троньте его,
Яко наг, яко благ, яко нет ничего...

В верхних ложах публика «наплывная». Верхняя ложа стоила пять рублей, и десяток приказчиков и конторщиков набивали ее «по полтине с носа» битком, стоя плотной стеной сзади сидящих дам, жующих яблоки и сосущих леденцы.

— И чего актеры поют, а не говорят, слов не разберешь,— жаловались посетители таких лож.

— Одна песня, а слов нет!

Ложи бенуара и бельэтажа сплошь занимались купечеством: публика Островского.

Иногда в арьерложе раздавался заглушенный выстрел; но публика не беспокоилась: все знали, что в верхней ложе жених из ножевой линии угощал невесту лимонадом.

Премьеры театра Корша переполнялись обыкновенно передовыми людьми: писатели, актеры и поклонники писателей и актеров, спортсмены, приезжие из провинции на бега, среднее купечество и их дамы — все люди, любящие вволю посмеяться или пустить слезу в «забирательной драме», лучшая публика для актера и автора. Аплодисменты вплоть до топания ногами и крики при вызовах «бис, бис» то и дело.

«Отколупнет ли крендель» Градов-Соколов, закатит ли глаза томная Рыбчинская, рявкнет ли Соловцов, или как в барабан лупит себя по груди Рощин-Инсаров, улыбнется ли, рублем подарит наивная Мартынова — на все отзыв от всей души, с шумом и грохотом.

А в антрактах купеческие сынки перед зеркалом в уборной репетируют жесты изящного Петипа.

Сам Федор Адамович Корш ныряет среди публики, улыбается и радуется полному сбору.

Как-то священник соседней с театром церкви пожаловался Коршу, что народ мало ходит в церковь. А Корш ему:

— Репертуарчик старенький у вас! У меня вот каждая пятница — новинка, и всегда полно...

Весел Корш, весела публика, веселы актеры, дебютантам — благодать: как ни играй, успех обязательно.

В театре Родона — оперетка... Своя там публика. Пожившая, износившаяся — старые развратники, наблюдающие обнаженные торсы и рассматривающие в бинокли, не лопнуло ли где-нибудь трико у артистки. Публика, воспитанная в «Салошках», кафе-шантанах и в театральных маскарадах.

Были еще два театра — «Немчиновка» и «Секретаревка». Там играли кружки любителей. Много из этих кружков вышло хороших актеров, театры эти сдавались внаймы на спектакль. И каждый кружок имел свою публику.

Один из моих друзей — репортер — прямо по нюху, закрыв глаза, при входе в зал угадывал, какой кружок играет: рыбники ли, мясники ли, овощники ли из Охотного ряда. Какой торговец устраивает, такая у него и публика: свой дух, запах, как у гоголевского Петрушки. Особенно рыбники.

Помню курьез: в числе любителей был в Москве известный гробовщик Котов. Недурно играл. Поставил он «Свадьбу Кречинского» и сам играл Кречинского. Зал бушевал, аплодируя после первого акта, ведь после каждого спектакля Котов угощал публику ужином — люди все были свои.

Наконец, второй акт. Вдруг неожиданно, запыхавшись, в шубе, вбегает на сцену его приказчик и шепчет что-то Котову на ухо.

— Ну? Сейчас. Ступай отсюда!

— Да торопитесь, а то перехватят!

Кречинский сорвал сначала одну бакенбарду, потом другую и бросился, ни слова не говоря, бежать со сцены.

Оказалось, что умер один из богачей Хлудовых, и он побежал получить заказ.

Публика не обиделась: дело прежде всего!

И стали танцовать.

Но совершенно особенные картины можно было наблюдать в незадачливом детище М. В. Лентовского, в театре «Скоморох».

Театр этот назывался «народным», был основан на деньги московского купечества. Конечно, народным в настоящем смысле этого слова он не был. Чересчур высокая плата, хотя там были места от пяти копеек, а во-вторых, обилие барышников делали его малодоступным не только для народа, но и для средней публики.

Не было и подходящего репертуара, но труппа была прекрасная, и посетители валили валом.

Публика ходила в «Скоморох» самая разнообразная: чуйки, кафтаны, тулупы, ротонды, платья декольте шелковые, шерстяные, ситцевые и сарафаны.

В фойе, в буфете дым стоял от разного табаку до махорки включительно. В зрительном зале запах полушубка и смазных сапог.

В «купонах» на верхотуре сидят две хорошенькие модистки.

— Ах, какой душка Лентовский! — восклицает одна.

— Да надоела ты мне с ним. Целое утро Лентовский да Лентовский, давай лучше плешивых считать!

— Давай. Один, два, три!..

— Позвольте, Софья Терентьевна, от всего моего сердца предложить вам сей апельсин,— говорит военный писарек, вынимая из заднего кармана пару апельсинов.

— Ах, какой вы, Тихон Сидорович! Вечно собьет...

— Вы чем это изволите заниматься?

— Оставьте! Двадцать два, двадцать три...— ткнула пальцем Соня чуть не в самую плешивую голову сидевшего впереди их купца.

— Эфти вы насмешки лучше оставьте-с, постароше себя не тычьте, заведите свою плешь, да и тешьтесь. А насчет чужой рассуждение не разводите-с!

— Позвольте-с,— авторитетно заявляет писарь, поправляя «капуль»,— это-с, собственно, не касательно вашей плеши, а одна профанация насчет приятного препровождения времени.

— А тебя не спрашивают, не к тебе речь. Погоди, и твой капуль-то вылезет. Вот у меня Филька — приказчик есть. Тоже капулем чесался. Придет к паликмахтеру, да и говорит: остриги меня, чтобы при хозяине по-русски, а без хозяина а ла капуль выходило...

— Семьдесят два, семьдесят три, семьдесят четыре, семьдесят пять...

— А вы знаете, Софья Терентьевна, песенку про плешивых-с?

— Семьдесят девять... восемьдесят...

— Мы плешивых песенок не знаем. Впрочем, спойте.

— Извольте-с.

Плешь к плеши приходила,
Плешь плеши говорила:
Ты плешь, я плешь,
На плешь капнешь,
Плешь обваришь,
Что заговоришь...

— Не ожидала от вас таких глупостев, Тихон Сидорович, не ожидала-с...

— Что с дурака взять? — замечает плешивый купец.

— Сам дурак.

— Ну ты, сам дурак и выходишь!

— То есть, какое вы имеете полное право ругаться?

— Еще бьют дураков-то, да и плакать не велят.

— Восемьдесят один, восемьдесят два... восемьдесят три...

— Сиволапый мужик...

— Барин с Хитрова! Жулье!

— Кто? Я жулье?

— Известно, ты.

— Кто, я? Жулье?

— Жулье...

— Жулье? Господин околоточный, господин околоточный... Пожалте-с!

Околоточный грозит от входа пальцем. Поднимается занавес. В театре крики:

— Тише! Тише!

Слышится тихий шопот:

— Восемьдесят девять, девяносто, девяносто один...

ШКАМОРДА

Халтура существовала издавна, но под другими названиями, а то и совсем без названий: находились предприниматели, собирали труппу на один-два спектакля где-нибудь на фабрике по заказу и играли. Актеры получали разовые и ездили, причем первые персонажи во втором классе, а вторые — в третьем.

Родоначальницу халтурщиков я имел удовольствие знать лично. Это была особа неопределенных лет, без имени и отчества, бесшумно и таинственно появлявшаяся в сумерки на подъезде Артистического кружка (в Кружок ее не пускали), и тут, на лестнице, выуживала она тех, кто ей был нужен.

В своем рукавистом салопе и ушастом капоре она напоминала летучую мышь. Маленькая, юркая и беззубая.

Ее звали — Шкаморда.

Откуда такая фамилия? Она уверяла, что ее предок был Богдан Хмельницкий.

Как бы то ни было, а вместо нынешнего актерского термина «халтурить» в 1875 году в Москве существовал «шкамордить».

В том году я служил помощником режиссера в Артистическом кружке. Антрепренерствовал тогда там артист Малого театра Н. Е. Вильде.

Кружок занимал все огромное помещение, ныне занятое Центральным театром для детей, а перед этим там был знаменитый трактир Барсова с его «Белым залом», выходившим окнами в Охотный и на Театральную площадь.

Этот зал во время великого поста занимали богатые актеры вплоть до закрытия трактира. Здесь часто бывал А. Н. Островский с П. М. Садовским и Н. Х. Рыбаковым.

В те времена великим постом было запрещено играть актерам, а Вильде выхлопотал себе разрешение «читать в костюмах сцены из пьес». Поэтому, конечно, с разрешения всемогущего генерал-губернатора В. А. Долгорукова, «покровителя искусств», в Кружке полностью ставились пьесы, и постом сборы были полные. Играли все провинциальные знаменитости, съезжавшиеся в Москву для заключения контрактов.

Все остальные театры и в столицах и в провинции в это время молчали. Только предприимчивая Шкаморда ухитрялась по уездным городам и подмосковным фабрикам делать то же, что и Вильде: ставить сцены из пьес в костюмах. Она нанимала и возила актеров.

Крупнейшие артисты того времени ездили с ней в Серпухов, в Богородск, на фабрику Морозова, в Орехово-Зуево, в Коломну: и она хорошо зарабатывала и давала хорошо зарабатывать актерам.

Нуждающимся отдавала последний рубль, помогала больным артистам и порою сама голодала. Мне приходилось два раза ездить с нею в Коломну суфлировать, и она аккуратно платила по десяти рублей, кроме оплаты всех расходов.

Со строгим выбором брала Шкаморда актеров для своих поездок: страшно боялась провинциальных трагиков. И

после того, как Волгин-Кречетов напился пьян в Коломне и переломал — хорошо еще, что после спектакля,— все кулисы и декорации в театре купцов Фроловых и те подали в суд на Шкаморду, она уже «сцен из трагедий» не ставила и обходилась комедиями и водевилями.

Много потом появилось таких «Шкаморд» — устроителей спектаклей и концертов. Начатое забытой Шкамордой дело разрослось и сделалось весьма почтенным и солидным.

Особенно поддерживали развитие халтуры благотворители. Казенные театры запрещали выступать своим артистам на чужих сценах.

«Помилуйте, казенного жалованья нехватает на чай и сахар»,— приводили актеры слова Гоголя.

И им позволяли выступать на благотворительных вечерах, но только не под своими фамилиями, чтобы заработать «на чай и сахар».

На благотворительных вечерах до самой революции артисты выступали под сокращениями или под звездочками. И все знали, что под звездочками арию из «Онегина» исполнит Собинов, монологи Чацкого и Гамлета — А. И. Южин.

Поди-ка сократи Южина! А вот других весьма узнаваемо сокращали: Д. Ал. Матов, Х. О. Хлов, П. Р. Авдин.

Помню отчет об одном таком частном благотворительном концерте, где всех расхваливали. Отчет заканчивался строками:

И даже некто П. И. Рогов
Поет как будто Пирогов.

Теперь наши артисты выступают свободно, без звездочек и сокращений.

А мне вспоминается неутомимая труженица с благородной душой: Шкаморда — мать халтуры.

НА ХИТРОВКЕ

В 1883 году И. И. Кланг начал издавать журнал «Москва», имевший успех благодаря цветным иллюстрациям. Там дебютировал молодой художник В. А. Симов. С этого журнала началась наша дружба. В 1933 году В. А. Симов прислал мне свой рисунок, изображавший ночлежку Хитрова рынка. Рисунок точно повторял декорации МХАТ в пьесе Горького «На дне».

На рисунке дата и надпись: «Дорогому другу дяде Гиляю, защитнику и спасителю души моей, едва не погибшей ради углубленного изучения нравов и невредимо извлеченной из недр хитровской ночлежки ради «Дна» в МХТ в лето 1902 года. В. Симов».

Рисунок В. А. Симова напомнил мне эпизод в ночлежке, населенной людьми театра.

В начале восьмидесятых годов в Москве были только две театральные библиотеки. Одна — небольшая, скромно помещавшаяся в меблирашках в доме Васильева, в Столешниковом переулке, а другая, большая,— на Тверской.

Первую содержал С. И. Напойкин, а вторую С. Ф. Рассохин. Первая обслуживала главным образом московских любителей и немногих провинциальных антрепренеров, а вторая широко развернула свое дело по всей провинции, включительно до Сибири и Кавказа. Печатных пьес, кроме классических (да и те редко попадались), тогда не было: они или переписывались или литографировались, этим специально занимался Рассохин. От него театры получали все пьесы вместе с расписанными ролями.

Библиотека на Тверской была в бельэтаже, филиальное же отделение, где велась вся переписка, помещалось в грязнейшей ночлежке Хитрова рынка, в доме Степанова. Здесь в нижнем этаже ютился самый разбойничий трактир «Каторга»... А в надворном флигеле во втором этаже в квар-

тире № 6, состоявшей из огромной комнаты, разделенной сквозной дощатой перегородкой, одну половину занимали нищие, а другую — переписчики Рассохина. Они работали в экстренных случаях ночи напролет.

Огромнейшие деньги получала библиотека, наживая с заказчиков в десять раз больше, чем платила своим «писакам», как их звали на Хитровке.

За расписывание ролей они получали по тридцать пять копеек с акта, а акты бывали и в семь листов и в десять. Работа каторжная, в день можно написать шесть-семь листов, не больше. Заработок в день выходил от двадцати до тридцати копеек, а при самых выгодных условиях, то есть при малых актах, можно было написать копеек на сорок.

— Если пишем с листа,— рассказывал хитрован, бывший суфлер,— то получаем по пять копеек за лист, и тоже более восьми листов не напишешь. Эту работу мы считаем выгодною и очень рады, когда она нам попадается, но это бывает редко. Вся беда в том, что работа у нас не постоянная — нынче, завтра кое-что, а там дня два ничего нет. Куда хуже нищих! Они в другой половине нашей квартиры живут. Не житье им, а малина. Раза три в день пьяны бывают, выспятся и опять лопают. И кусочки им подают с купеческого стола, и одеты тепло — даром, что с виду лохмотья. День гуляют, а ночью дрыхнут так, что писать нам нельзя,— от воздуха лампа гаснет. А мы сидим босые и полуголодные и никак на одежонку не соберем... И покупать уж не стараешься — все равно пропьем. Я только что вырвался оттуда, дядя вчера нашел меня там босым, в одной рубашке, сводил в баню, постриг, как видишь. Послезавтра еду с ним в Казань — он меня в театр опять пристроит. Там суфлер плохой.

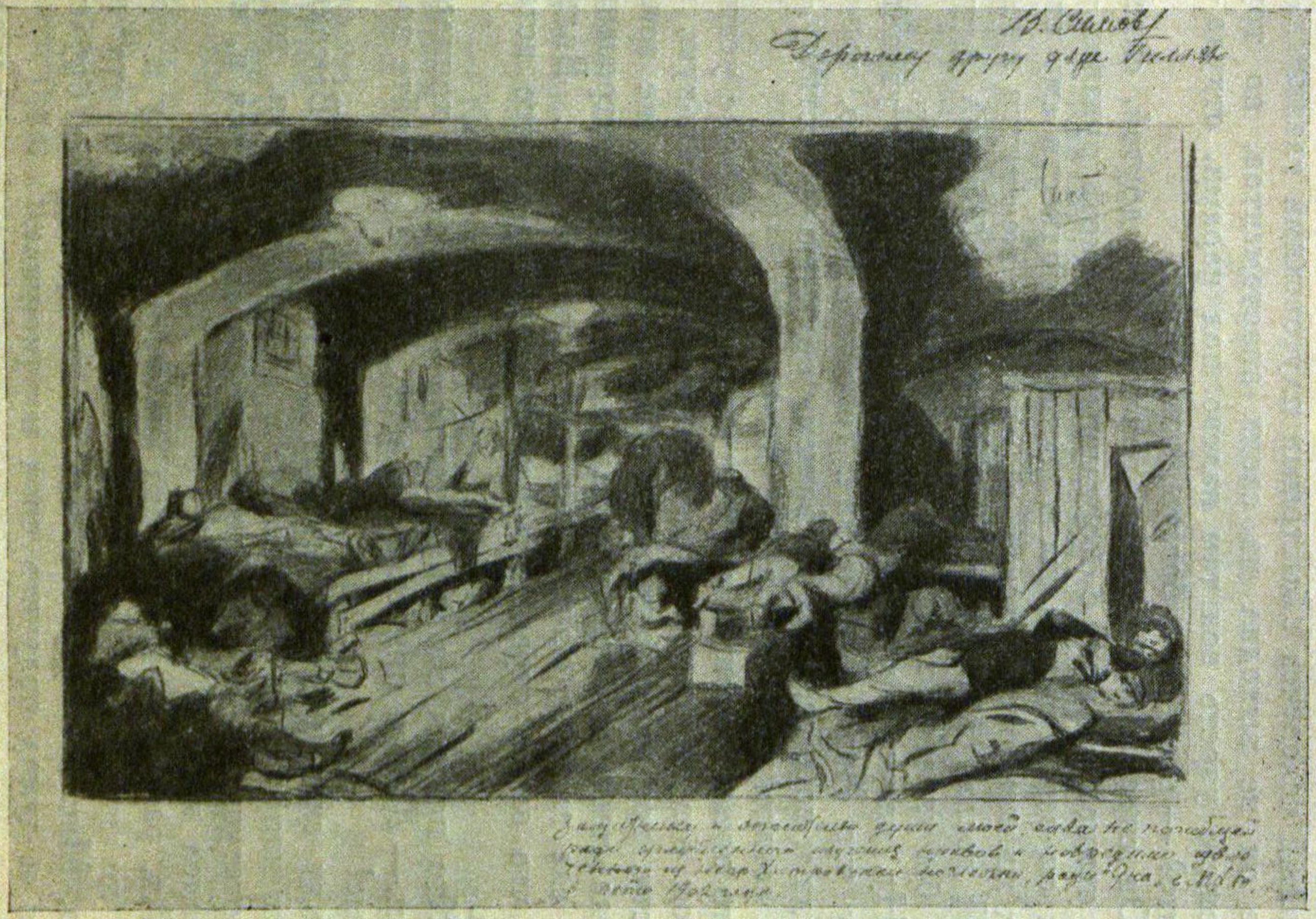
— Может быть, ты меня сведешь? — спросил я его.

— Никак нельзя... Как попаду, опять застряну... Оттуда выхода нет: придется все пропить, так не выпустят... Со мной уж это бывало. А ты обязательно сходи. Придешь,

увидишь, за столом сидят, или пишут, или водку пьют. Прямо к ним. Спроси там старшего, Ивана Артемьевича, скажи, что тебя из библиотеки прислали, просят работишку дать тебе... Да оденься как можно похуже. Иван Артемьев у нас выборный, потрезвее других. Библиотека ему сдает на руки работу, ему и деньги уплачивает, а он уж рассчитывается с нами: все деньги делим поровну, а ему сорок копеек за ходьбу с каждой получки даем, кроме заработанной доли.

На другой день, в воскресенье, я пошел на Хитровку под вечер. Отыскал дом Степанова, нашел квартиру номер шесть, только что отворил туда дверь, как на меня пахнуло каким-то отвратительным, смешанным с копотью и табачным дымом, гнилым воздухом. Вследствие тусклого освещения я сразу ничего не мог разобрать: шум, спор, ругань, хохот и пение — все это смешалось в один общий гул и настолько меня поразило, что я не мог понять, каким образом мой приятель суфлер попал в такую ужасную трущобу.

Мой приход никого не удивил, и никто не полюбопытствовал о цели моего появления. Я стал осматриваться: это была огромная квадратная комната в пять окон; вокруг стен были сплошные нары, и на них в самых непринужденных позах кто сидел, кто лежал; некоторые чинили свои отрепья. Соседняя ночлежка, нищенская, была еще хуже. Там под нарами, на разостланных на полу грязных рогожах, ютились преимущественно женщины; тут же, на протянутых над нарами веревочках, сушились грязные тряпицы, юбки и другие принадлежности женского туалета. Пол был отвратительно грязен и блестел от мокроты. Нога ступала в мокрую грязь так же мягко, как на улице. Посреди комнаты за большим столом, под висячей лампой, сидело человек шесть, и казалось, они очень спешили сшивать какие-то тетради. Я подошел к столу и спросил об Иване Артемьевиче.



Ночлежка на Хитровке. Рисунок В. А. Симова

— Он болен,— усмехнувшись, ответил мне маленький рыженький человечек с быстрыми плутовскими глазками.— Нынче он не выходил из своих апартаментов, но труп его можете узреть вон там налево под нарами, откуда — слышите? — раздается богатырский храп.

— Он справляет байрам,— пояснил мне другой, сидевший в темной рубашке с оторванным по локоть рукавом,— и если он вам нужен и вы в состоянии поднести ему стаканчик жизненного элексиру, то он сейчас же явится к вам.

— Я послан к нему из библиотеки,— объяснил я,— и желал бы узнать относительно условий переписки.

— Ну, насчет этого вы сегодня вряд ли что узнаете, потому что Иван Артемьевич, говоря откровенно, нынче пьян; да и вообще, судя по вашему обличью — костюму,— вы не согласитесь работать с нами.

В это время подошел к столу высокий мужчина с усами, с лицом безжизненного цвета, одетый в коротенькую, не по росту, грязную до-нельзя рубашку, в таких же грязных кальсонах и босиком. Волосы его были растрепаны, глаза еле глядели из-под опухших красных век. Видно было, что он со страшного похмелья и только что встал от сна.

— Кто пришел из библиотеки? — спросил он хриплым голосом.— Деньги принесли? У кого деньги? Давайте порционные!

Между сидевшими за столом раздался смех. Высокий человек направился ко мне. Я, в нерешительности, хотел было отступить, но он, обходя стол, поскользнулся и, падая, задел меня.

— Ах, pardon ,— проговорил он, вставая с полу и протянув ко мне свои мокрые от грязи руки,— я это нечаянно. Мне послышалось, что кто-то пришел из библиотеки, я и думал получить свои порционные.

Мне не хотелось говорить с пьяным, и, к моему удивлению, кто-то из-под нар отозвал этого господина к себе.

Через минуту он уже пел, сжимая в руках стакан с водкой:

Всему на свете мера,
Всему есть свой конец,
Да здравствует мадера,
Веселие сердец.

— Кто это? — спросил я.— Знакомый голос!

— Один актер-любитель из дворян... Второй год у нас околачивается... Три раза брали его родные, одевали, как барина, а он опять к нам... Говорит на всех языках. В Париже прокутился... Пишет хорошо.

«Кто же это? Неужели...» — мелькало в памяти.

Перебила рассказ безносая нищенка: она высыпала на стол из мешка гору корок, ломтей черного хлеба и объедков пирогов.

— За все гривенник!

— Мы у нищих хлеб покупаем, втрое дешевле лавочного. Окуски пирогов попадаются... Вот, глядите, ватрушки уголок.

— Здесь и обедаете?

— Куда же мы, голые, пойдем? Одни опорки на четверых. У съемщицы харчимся, обед из четырех блюд четыре копейки, каждого кушанья на копейку: щей, супу, картошки и две каши. Хлеб свой, вот этот. За ночлег — пятак. Верит до получки. Сейчас деньги из библиотеки пришлют — разочтемся...

Мы смотрели на пляску пьяных нищих. Безносая топотала в стоптанных башмаках, развевая над головой рваным платком, а за ней, петушком, петушком, засеменил босой нищий, бросив свои два костыля на нары и привизгивая:

Ходи, барыня, смелей,
Музыканту веселей...

Потом явился из соседней ночлежки гармонист, и разноголосый хор заорал свою любимую:

Пьем и водку, пьем и ром,
Завтра по миру пойдем...

Изорин спал поперек нар, один опорок свалился на пол. Так и не пришлось мне поговорить со старым товарищем по сцене: когда я зашел через месяц, его опять разыскали друзья и увезли.

* * *

После этого первого посещения я стал иногда заходить к «писакам», и, если друзья просили меня показать им трущобы, я обязательно водил их всегда сюда, как в самую скромную и безопасную квартиру, где меня очень уважали, звали по имени-отчеству, а иногда «дядя Гиляй», как я подписывался в журналах и газетах.

На Хитровке, в ее трех трактирах, журналы и газеты получались и читались за столами вслух, пока совсем истреплются. Взасос читалась уголовная и судебная хроника (особенно в трактире «Каторга»), и я не раз при этом чтении узнавал такие подробности, которые и не снились ни следователям, ни полиции, ни судьям. Меня не стеснялись, а тем, кто указывал на меня, как на чужого, говорили:

— Это наш, газетчик, он не лягнет.

На «Каторгу», к переписчикам, я водил раз Т. Л. Щепкину-Куперник.

Я познакомился с Татьяной Львовной за кулисами театра Корша. Она играла гимназиста и была очень хорошеньким мальчиком. В последнем антракте, перед водевилем, подошла ко мне вся сияющая, счастливая успехом барышня, и я сразу не узнал после гимназического мундира Т. Л. Щепкину-Куперник.

Спустя долгое время я с ней встретился в Малом театре. Она, начитавшись моих статей о трущобах, просила

показать ей их и пригласила меня зайти к ней. Она занимала маленький флигелек по Божедомке вдвоем с артисткой Терьян и прислугой. Три небольшие уютные комнатки: картины, безделушки, портреты писателей. Вечера веселья, небольшой кружок одних и тех же знакомых молодых артисток. Пение, музыка и чтение. И только дамское общество. Я любил бывать там. Просьбу показать ей Хитровку я все отклонял — не хотелось ее окунать в грязь, но, наконец, уступил.

Татьяна Львовна одела очень скромную шубку, на голову дешевый шерстяной платок, а на ноги валенки. Я решил ей показать только переписчиков. Пока мы шли рынком мимо баб, торговавших с грязными фонарями на столах разной «благоухавшей» снедью, которую пожирали оборванцы, она поражалась и ужасалась. Да еще бы не ужасаться, после ее обычной жизни в уютном флигельке!

А тут:

— Иди, на грош горла отрежу.

— Тухлая.

— А тебе за семитку-то с лимоном? Пошел...

Дальше пьяная ругань и драка.

В трактире «Каторга» дерутся. Кого-то вышибают за дверь. Звон стекол... Вопли о помощи...

Мы исчезаем в темном проходе, выбираемся на внутренний двор, поднимаемся во второй этаж, я распахиваю дверь квартиры номер шесть. Пахнуло трущобой. Яркая висячая лампа освещает большой стол, за которым пишут, согнувшись, косматые, оборванные, полураздетые, с опухшими лицами, восьмеро переписчиков.

Подняли головы и радостно меня приветствуют.

— Мешать не буду... я вот зашел с молодой писательницей показать ей, как ее пьесы переписывают.

Встали, кланяются.

— Очень рады... Мы уж кончили, последнюю страничку... А кто она? — спрашивает старик из военных писарей.

— Щепкина-Куперник.

— Твердо-люди![1] Недавно переписывали!

— Да, Татьяна Львовна.

И все внимание обращено на нее. Усадили. Разговаривают о пьесах, о театре. В соседней комнате за дощатой перегородкой ругаются и спорят пьяные нищие...

* * *

Шли годы. Шагнули в двадцатое столетие. М. Горький ставил «На дне», и меня В. И. Немирович-Данченко просил показать Хитровку для постановки пьесы. Назначен был день «похода», и я накануне зашел узнать, в той ли еще они квартире. Тот же флигель, та же квартира во втором этаже, те же лампочки-коптюшки у нищих и большая висячая лампа с абажуром над рабочим столом. Кое-кто из стариков цел, но уж многих нет.

Работы в этот день не было. За столом сидел голый старик и зашивал рубаху. Мы были знакомы по прежним встречам на Хитровке. Съемщица квартиры подала нам запечатанную белую бутылку водки «смирновки». Обыкновенно подавала она сивуху в толстых шампанских бутылках: они прочнее.

А перед нами —

Скрестивши могучие руки,
Главу опустивши на грудь,

глядя на нас жадным взором, стоял в одном нижнем белье и в опорках положительно Аполлон Бельведерский. Он был выше всех на голову, белые атлетические руки, на мизинце огромный холеный ноготь, какие тогда носили великосветские франты.

— Пригласи барина,— шепнул мне мой товарищ и поманил его рукой.

---

[1] Ее инициалы по-славянски.

С улыбкой сквозь красивые усы и бородку он крепко пожал мне руку, сделал легкий поклон, щелкнул опорками пятку о пятку, как, повидимому, привык делать в сапогах со шпорами, и отрекомендовался: поручик Попов. Думаю, что это был псевдоним. Уж очень он на меня свысока смотрел. Но когда мы выпили по четвертому стаканчику, закусывая соленым огурцом, нарезанным на газете, с кусочками печенки, он захмелел, снизошел до меня и разговорился.

— А знаете,— обратился он ко мне,— вот здесь мы с вами водку пьем, а я чрез неделю должен был баллотироваться в уездные предводители дворянства, и мое избрание обеспечено. Мой отец губернский предводитель, уважаемая личность...

Я слушал, глядя на него: верю, мол.

— Кроме отца, никто не знает, что я старый хивинец. Я здесь третий раз. Раз прожил на Хиве полгода, тоже пьесы переписывал. Отец разыскал и привез домой. Через год я опять попал сюда — и год прожил. Отец опять увез к себе в имение, и я уж было дома привык. Занимался хозяйством, танцовал, охотился, запои мои прекратились совершенно. Решил баллотироваться, а потом жениться. Я считался завидным женихом. Поехал на месяц в Крым и там, кроме легкого вина, ничего не пил. И вот, возвращаюсь из Крыма. Билет был прямо до Петербурга. Камердинер поехал с вещами в купе, а я пошел пешком с Курского к Николаевскому вокзалу. Поезд отходит через два часа, в одиннадцать ночи. Пошел в «Славянский базар» поесть, да с Лубянской площади вдруг и повернул на Солянку. Думаю: зайду на Хиву, в «вагончик», где я жил, угощу старых приятелей и прямо на курьерский, еще успею. А на другой день проснулся на нарах в одной рубашке... Друзья подпустили ко мне в водку «малинки». Даже сапог и шпор не оставили... Как рак на мели. Теперь переписываю пьесы — и счастлив.

Надо заметить, что он слегка картавил, заменяя букву «р» по-аристократически «г», пересыпал речь французскими словами, чокаясь, говорил «прозит» или «ол райт» — у него выходило «оль гайт».

Он, видимо, захмелел.

— Ничего, приедет отец, выручит,— сказал я.

— К чорту! Опять ходить по струнке! Настоящая жизнь здесь. Ведь это прелесть что такое: ничем не стеснять ни себя, ни других, распустить себя до состояния дикого человека, чувствовать себя во всех действиях свободным. Ведь это роскошь! C'est superbe!

Он встал во весь рост, покачнулся, красивым жестом поднял стакан, сделал им приветственный полукруг, обвел всех сияющими глазами, чокнулся со мной и, грасируя, с улыбкой произнес:

— Алла вегды!

* * *

От переписчиков я зашел в трактир «Каторга». Меня встретил буфетчик Семен Васильев, которого я знал здесь еще мальчиком-половым.

На моих глазах он превратился в буфетчика. Одет в пиджак, через шею серебряная цепь с передвижной подковой, с голубой эмалью, которую я еще помню на его хозяине Кулакове лет двадцать назад: это хозяйский подарок. Семка увел меня в свою каморку за посудным шкафом, принес бутылку елисеевского портвейна, две рюмки и пару антоновских яблок.

Семка был здесь много лет моим «собственным корреспондентом» и сообщал все тайные новости Хитрова рынка, во-первых, потому, что боялся меня, как бы я не «продернул» в газетах трактир, а во-вторых, потому, что просто «обожал» писателя. Словом, это был у меня свой человек. Он старался изо всех сил рассказать всегда что-нибудь интересное, похвастаться передо мной своим всезнайством.

Ему давно было известно, что у меня много знакомых среди самых отчаянных обитателей подземелий «Утюга» и «Старого оврага», с которыми я за «семикаторжным» столом его трактира не раз водку пивал: и Беспалый, и Зеленщик, и Болдоха, и Степка Махалкин, родной брат Васьки Чуркина, меня не стеснялись, сами мне давали наперебой материал и гордились, перечитывая в газетах свои сообщения, от которых полиция приходила в ужас.

Из-за этого и сам трактирщик Кулаков меня подобострастно принимал, а уж Семка прямо в нитку передо мною тянулся. Он первым делом заявил мне, что теперь служит на отчете, а хозяин живет в своем имении и редко приезжает. Рассказывал о старых общих знакомых — кто сослан, кто на высидке, кто где «дельце обделал». Во время рассказа он на минутку отрывался к кассе получать деньги.

— А вчера ночью обход был... Человек двести разной шпаны набрали... Половина нищие, уже опять вернулись, остальные в пересыльной сидят... и эти придут... Из деловых, как всегда, никого — в «малине» отсиделись. А было что взять: с неделю назад из каторги вернулся Болдоха, а с ним Захарка... Вместе тогда за убийство судились и вместе бежали... Еще его за рост звали «Полтора Захара, с неделю ростом, два дни загнулось». Вы помните их?

— Болдоху хорошо знаю. Он мне сам рассказывал о Гуслицком сундуке, а я с его слов напечатал подробности... Небольшой, с усами, звали Сергей Антонов, помню.

— Теперь не узнаете. Носит подвесную бороду, а Безухий и ходит и спит, не снимая телячьей шапки с лопастями: ухо скрывает. Длинный, худющий, черная борода... вот они сейчас перед вами ушли от меня втроем. Злые. На какой хошь фарт пойдут. Я их, по старому приятству, сюда в каморку пускаю, пришли в бедственном положении,

пока что в кредит доверяю, Болдохе сухими две красненьких дал... Как откажешь? — Сейчас!

Вернувшись от кассы, сказал:

— Приодеться надо, ищут фарта, да еще не наклевывается. Харчатся и спят у Бардадыма.

— Это в вашем «Утюге», в подвале?

— Да, бывшая ночлежка Золотого... там сокровенно, туда лягавые не сунутся.

— Знаю, ход со двора, внизу. А постарел Болдоха?

— Нет, все такой же бык, только седой, а бороду добыл рыжую.

* * *

Выйдя на площадь, под фонарем я увидел оборванца, лицо которого показалось мне знакомым.

— Игнат,— окликнул я,— ты как попал?

— Как всегда, запил на две недели, запой прошел, а я уж месяц в Кулаковке околачиваюсь, не в чем на место явиться.

Обрадовался мне, слезы на глазах.

— Завтра утром заходи ко мне, я тебя одену.

— Не могу в этом виде днем. Позвольте вечером.

— Завтра вечером меня не будет дома, приходи послезавтра, а пока держи рублевку на харчи.

Мы расстались. Игната я давно знал. Он был коридорным в номерах Фальцфейна на Тверской. Честнейший человек, хотя знался с самыми что ни на есть разбойниками Хитрова рынка, куда два раза в год попадал: запьет, в пьяном виде сейчас же на Хитровку, в излюбленную ночлежку. Через две недели запой проходит, и если хитровские друзья сработают какой-нибудь фарт, то приоденут его, и он снова на службе. Его излюбленное место было в ночлежке Бардадыма и у шулеров, которые обыгрывают по притонам и по рынкам в «черную и красную» или «три листа». Сам же он в карты никогда не играл.

* * *

На другой день, как мы условились раньше, я привел актеров Художественного театра к переписчикам. Они, раздетые и разутые, сидели в ожидании работы, которую Рассохин обещал прислать вечером. Лампа горела только в их «хазе», а в соседней было темно: нищие с восьми часов улеглись, чтобы завтра рано встать и итти к ранней службе на церковную паперть.

Радость, когда я привел таких гостей, была неописуема. Я дал пять рублей, хозяйка квартиры подала нам «смирновки», а другим сивухи. По законам ночлежки водку обязаны покупать у хозяйки — это ее главный доход. Водка, конечно, всегда разбавлена водой, а за «смирновку» в запечатанном виде платилось вдвое.

Художник В. А. Симов с карандашом и альбомом и еще кое-кто сели за стол, а кто и стоял. Щегольские костюмы и рвань. Изящный В. И. Немирович-Данченко блистал своей красиво расчесанной бородой и с кем-то разговаривал.

В высокомерной позе, на том же самом месте, как и вчера, с красиво поднятым стаканом, полураздетый, но гордый, стоял рядом с К. С. Станиславским мой вчерашний собеседник — оба одного роста. Все «писаки» были еще совершенно трезвы, но с каждым стаканом лица разгорались и оживлялась беседа.

— Приветствую вас у себя, дорогие гости,— грасировал «барин», обращаясь к К. С. Станиславскому и обводя глазами других.— Вы с высоты своего театрального Олимпа спустились в нашу театральную преисподнюю. И вы это сделали совершенно правильно, потому что мы тоже, как и вы, люди театра. И вы и мы служим одному великому искусству — вы как боги, мы как подземные силы... Ол райт!..

Он хлопнул залпом стакан.

К. С. Станиславский стал с ним говорить, перемешавшиеся лохмотья и шикарные костюмы склонились над

столом и смотрели на рисунок Симова, слышались возгласы одобрения, только фигура чайки вызвала сомнение. Нешто это птица?

Ночлежка нищих нестерпимо зловонила и храпела. Я нюхал табак, стоя у двери, и около меня набралось человек десять любопытных из соседней ночлежки. Вдруг меня кто-то тронул за руку.

— Угостите табачком.

Оглядываюсь — Игнат. Он значительно смотрит на меня и кладет четыре пальца себе на губы. Жест для понимающего известный: молчи и слушай. И тотчас же запускает щепоть в тавлинку, а рукой тихо и коротко дергает меня за рукав. Это значит: выйди за мною. А сам, понюхав, зажав рот, громко шепчет: «Ну, зачихаю»,— и выходит в коридор. Я тоже заряжаю нос, закрываю ладонью, чтобы тоже не помешать будто бы чиханьем, и иду за Игнатом. Очень уж у него были неспокойные глаза.

— Владимир Алексеевич, выкидывайтесь скорее с вашими гостями отсюда, да скорее, скорее, сей минутою, а то беда.

— Что такое?

— Жизнью вы все рискуете! Уводите своих... Вам накроют темную, будет драка, вас разденут. Ну, уходите. Как я уйду, так и вы за мною все...

Дальше в коротких словах он рассказал, что к ним в «малину» под ночлежкой Бардадыма пришел один «фартовый» и сказал, что к писакам богатые гости пришли. Болдоха из «Каторги» сразу шепчет соседу — Дылдой звать: «Ты, Дылда, как мы войдем и я тебе мигну, лампу загаси, и мы темную накроем».

— Это он сказал тому беглому, что с собой из каторги привел, а меня послал: «Сейчас, Игнашка, погляди, что и как и стоющее ли дело». Уходите, я бегу, меня ждут...— и нырнул на лестницу.

Я на минуту задумался: врет или не врет Игнашка? Я уверен, что он не врет, но, может, преувеличивает. Я решил все-таки увести гостей и с этими мыслями пошел в ночлежку.

Вдруг слышу — по лестнице идут несколько человек, и сквозь решетки перил под лампой показалась длинная фигура в оленьей шапке. Подобные шапки носили в Вологде зыряне. Борода у него черная, как описал мне буфетчик. Да, это Безухий, которого называл Болдоха Дылдой. А вот и широкая приземистая фигура Болдохи с бородой набоку.

Уходить поздно. Надо находить другой выход. Зная диспозицию нападения врага, вмиг соображаю и успокаиваюсь: первое дело следить за Дылдой и во что бы то ни стало не дать потушить лампу: «темная» не удастся, при огне не решатся. Болдоха носит бороду,— значит, трусит. Когда Болдоха меня узнает, я скажу ему, что узнал Безухого, открою секрет его шапки — и кампания выиграна. А пока буду следить за каждым, кто из чужих полезет к столу, чтобы сорвать лампу. Главное — за Дылдой.

К. С. Станиславский все еще разговаривает с «барином». Бутылка сивухи гуляет по рукам толпящихся у двери. Это набежали любопытные из соседней ночлежки, подшибалы и папиросники,— народ смирный, а среди них пьяный мордастый громила Ванька-лошадь. Он завладел шампанкою, кое-кому плеснул в стаканчик, а сам, отбиваясь левой рукой, дудит из горлышка остатки.

Около В. А. Симова шум, кто-то задорным голосом упрекает его:

— Нешто это мой патрет? Пачиму такое одна щека черная? Где она у меня черная? Где? Гляди!

Кто за художника, кто за того... голоса слились в споре. А пятеро «утюгов» с деловым видом протеснились ближе и встали сзади налегших на стол спорщиков. На

них никто никакого внимания: не до того — на столе водка.

Болдоху я бы и не узнал, если бы не привесная борода, которую он то и дело поправлял. Я его помню молодым парнем с усами: бороду брил, щеголь. Зато сразу узнал несуразного Дылду по его росту и шапке с ушами.

Я делал вид, что слушаю разговоры, а сам следил из-за чьей-то спины за «утюгами». Перешептываются, и глаза их бегают и прыгают по костюмам гостей: они делят заранее, кому и кого атаковать. Болдоха толкает в спину Безухого; тот боком, поднимаясь на носки, через плечи наклонившихся над столом, заглядывает на В. А. Симова, а сам подвигается вперед к лампе. Потом встал сзади тех, что навалились на стол со стороны нищенской перегородки со стоявшей вдоль нее широкой скамьей. Кое-кто стоит на ней коленами. Черная борода тихо подвигается над ними, болтаются желтые лопасти шапки. Там шумят и пьют водку. «Барин» со стаканом в руках что-то проповедует. А отдельно стоящие «утюги», видимо, волнуются и зыркают глазами. Только Болдоха исподлобья смотрит будто на пол и невозмутимо подкатывает внутрь длинные рукава рваного полушубка. Но центр внимания кучки и мой — Безухий, замерший в стойке над лампой, как собака над дичью. Все дело — в нем.

Если схватить и оттащить его — затеется борьба, в это время кто-нибудь из кучки успеет, пользуясь суматохой, погасить лампу,— и свалки не миновать. Единственный исход — бесшумно уничтожить гасителя Дылду, а Болдоху — словом ушибить. Безухий уперся пальцами откинутой правой руки в перегородку, чтобы удержать равновесие, потянувшись левой к лампе. Грудь открыта... шея вытянута... Так и замер в этой позе.

За столом галдеж. На В. А. Симова навалились с руганью. Кто за него, кто против. Он испуганно побледнел и съежился. Ванька-лошадь с безумными глазами бросил-

ся к столу, бешено замахнулся над головой В. А. Симова бутылкой. Я издали только успел рявкнуть:

— Лошадь, стой!

Но в этот же миг сверкнула белая рука в рваном рукаве, блеснул длинный холеный ноготь мизинца. Как сейчас я вижу это и как сейчас слышу среди этого буйства спокойное:

—Pardon! — Бутылка уже была в руках барина.

А под шум рука Дылды уже у лампы. Я отдернул его левой рукой на себя, а правой схватил на лету за горло и грохнул на скамью. Он — ни звука.

— Затырсь! Если пикнешь, шапку сорву. Где ухо? Ни звука, а то...

Все это было делом одного момента. Мелькнула в памяти моя бродяжная жизнь, рыбинский кабак, словесные рифмованные «импровизации» бурлака Петли, замечательный эффект их — и я мгновенно решил воспользоваться его методом.

Я бросился с поднятым кулаком, встал рядом с Болдохой и строго шепнул ему:

— Бороду сорву.— И, обратясь к центру свалки, глядя на Ваньку-лошадь, который не мог вырваться из атлетических рук «барина», заорал диким голосом: — Стой, дьяволы!..— и пошел, и пошел.

Импровизация Петли с рядом новых добавлений так гремела, что даже разбудила нищих. А между новыми яркими терминами я поминал родителей от седьмого колена, шепча Болдохе:

— Степку Махалкина помнишь?..

...Тра-та-та...

— А Беспалова?.. а дьяконову кухарку на Кисловке?..

...Тра-та-та...

— А золото Савки? А Гуслицкий сундук?

— ...Мерзлую собаку...

— Ну, узнал ты меня, что ли, Антон?

Он глядит на меня безумными глазами, скривившаяся борода трясется...

— А Золотого? Помнишь, как его я прописал? Бороду поправь!

— Дядя? Это ты...

— Ну, и заткнись! К вам, сволочи, своих друзей, гостей привел, а вы что, сволота несчастная? А еще люди! Храпаидолы! Ну?!

Все стихло. Губы у многих шевелились, но слова рвались и не выходили.

— Не бойсь, не лягну,— шепнул я Болдохе... и закатился финальной тирадой, на которую неистовым голосом завизжала на меня нищенка, босая, в одной рубахе, среди сгрудившихся и тоже босых нищих, поднявшихся с логова:

— Окстись! Ведь завтра праздник, а ты...— и тоже меня руганула очень сочно.

Я снял с головы шапку, поклонился ей в пояс и весело крикнул:

— С праздничком, кума!

— Бгаво... бгаво...— зааплодировал первым «барин», а за ним переписчики, мои актеры, нищие, и вся шатия, вплоть до «утюгов», заразилась их примером и хлопала в первый раз в жизни, не имея понятия о том, что это выражение одобрения.

Позднее столица восторгалась пьесой Горького и вызывала художника В. А. Симова за декорации, которые были точнейшей копией ночлежки Бардадыма, куда я его водил еще не раз после скандала у переписчиков.

М. Н. ЕРМОЛОВА

ВОСХОДЯЩАЯ ЗВЕЗДА

В семидесятых годах прошлого века самым безлюдным местом в Москве была Театральная площадь, огороженная с четырех сторон пестрыми казенного рисунка столбами. Сквозь них был протянут толстый канат.

У австралийских дикарей были такие священные места, куда нога смертного не должна была ступать, а виновный, преступивший закон, изданный жрецами, подвергался смертной казни за нарушение «табу». Такое «табу» лежало на Театральной площади: оно было наложено командующим войсками Московского военного округа и соблюдалось преемственно с аракчеевских времен, с тою только разницею, что виновного не казнили, а отправляли в «квартал» (тогда еще «участков» не было, они введены с 1881 года). «Квартала» москвичи совершенно справедливо боялись: насыплют по первое число, а то, гляди, и выпорют.

Удивительная площадь! Кусок занесенной неведомой силой полярной тундры, с нетронутым целинным снегом, огороженной аракчеевскими казенными столбами и канатом! Тундра во всей своей целомудренной неприкосновенности, в то время как кругом кипела жизнь. Гудел всегда полный народа Охотный ряд, как в калейдоскопе, пестрел широкий Китайский проезд и парами, и одиночками, и

груженными возами, которые спускались от Лубянской площади, лошади упирались в канат и поворачивали в сторону — кто к Большому театру, кто к Китайской стене, чтобы узким проездом протолкаться к Охотному ряду и дальше. Ругались кучера, извозчики и ломовики, и богатеи, что на собственных выездах щеголяют. Но после того, как выборных «отцов города», в заседании Думы подавших мысль об открытии пролета, начальство так пугануло, что у них душа в пятки ушла, богачи замолчали.

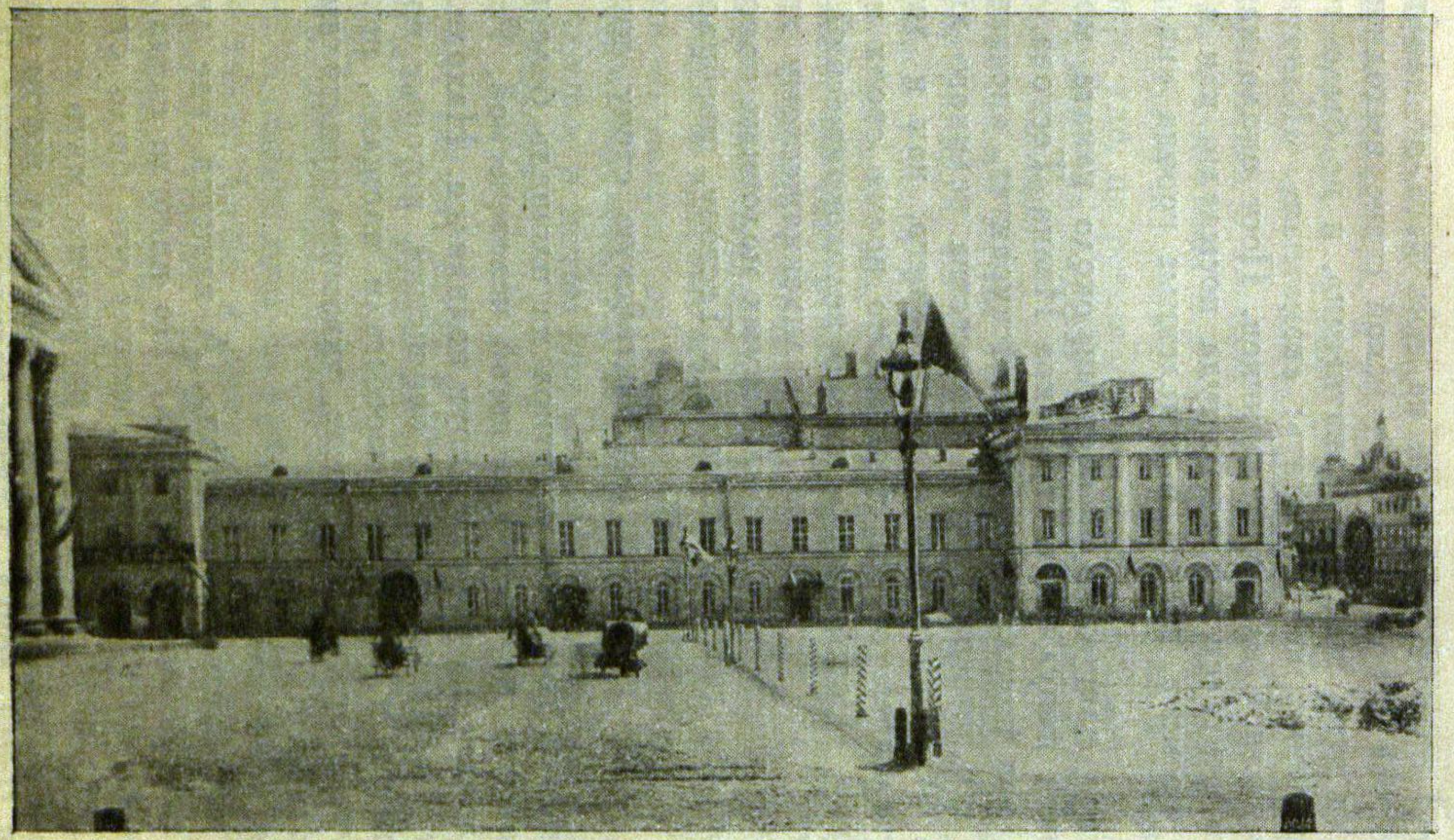
Командующий войсками генерал Гильденштубе, или, как перевели его имя без насмешки, а от всего сердца полуграмотные солдаты на русский язык: «Крендель в шубе», велел передать городскому голове, что «в думе пусть думают, что хотят, а говорить, что им не полагается, — не сметь!»

На десять лет замолчала дума, пока какой-то смелый гласный опять не поднял этого проклятого вопроса об открытии пролета для удобства проезда. И снова получился такой же строгий окрик, хотя командующий войсками был уже другой — генерал Бреверн де ля Гарди.

«Был «Крендель в шубе», а теперь «Бревно из гвардии»,— шипели гласные, и вся Москва продолжала кружить около каната.

Целинный снег все лежал целомудренной белой скатертью, а кругом каната ходили хожалые и будочники — наблюдали, чтобы кто-нибудь не нарушил «табу». Два раза в год устраивались парады войск. И ради этих двух раз площадь оставалась «пустопорожним местом», как писали в казенных бумагах. Особенно следили, чтобы «канатные» прогуливались только рядом с канатом с одной стороны площади и не толкались у фонтана.

Это уже была воля обер-полицмейстера, издавшего приказ: «Ввиду соблюдения благоустройства, строжайше запретить проституткам Челышевских и Китайских бань шляться по тротуарам и разрешить им хождение только



Театральная площадь в 70-х годах прошлого века

по наружной стороне площади, на три шага от каната, и только с одной стороны, к Китайской стене выходящей». Так и звали этих женщин «канатными», и не было тогда хуже оскорбления, как выругать: «канатная». «Канатные» состояли в полной власти будочников. Пост около каната по полиции считался наградой: туда посылали, как в допетровские времена воевод в отдаленные города «на кормеж».

Любоваться площадью и сценами около каната можно было из окон популярного трактира Ивана Тестова, числавшегося, как писалось на его прейскурантах, «поставщиком двора его императорского высочества великого князя Владимира Александровича», посещавшего, как и другие высокопоставленные особы, трактир во время своих наездов в Москву. «Поставщика» и герб великокняжеский Тестов получил за доставление к великокняжескому двору своих, особым способом откармливаемых молочных поросят.

Когда высокие гости приезжали к Тестову, швейцар бежал на пост к полицейскому.

— Гони своих канатных под Китайскую стену, князья наехали.

И любовались гости из трактира на площадь белоснежную, безлюдную, не тронутую ногой человеческой. Редко-редко когда след на пороше вдруг появлялся. Находились энтузиасты, любители сильных ощущений, которые подлезали под канат и стремглав перебегали площадь, некоторым это удавалось, и они после, указывая приятелям на следы, хвастались:

— Это я пробежал.

Десятки лет пустовала площадь. А кажется, где лучше место для зимней прогулки детей? Но никогда следа детских ножек не появлялось там, потому что было строго-настрого приказано: не пускать ребятишек мять снег.

Наконец, открылся один пролет, поползла потом по нему, звоня и гремя, конка, а затем загудел трамвай. В кон-

це концов вместо целинной снеговой тундры зимой, грязного болота осенью и весною, покрытого тучами пыли летом, образовался чудный сквер — место отдыха москвичей.

В первый раз я увидел площадь в декабре 1875 года, когда приехал в Москву из Рязани и ночевал у приятеля актера Селиванова в его номере в «Челышах».

На другой же день по приезде я пошел в Артистический кружок, где, по рекомендации актера Киреева и Лебедевой, был принят на службу помощником режиссера и обосновался в столице.

До восьмого марта 1876 года я и внимания не обращал на Театральную площадь, а в этот день она крепко запечатлелась у меня в памяти.

Было десять утра, а репетиция начиналась в двенадцать. Я вышел из «актерского» подъезда гостиницы Челышева, против фонтана с бронзовыми амурами работы скульптора Витали. Остановился на углу Китайского проезда нашей гостиницы и впервые подумал: «То ли дело, если бы этого дурацкого каната не было: иди по диагонали прямо от подъезда Кружка. А то вот кружи по тротуарам Малого театра, а потом около колоннады Большого — ровно вдвое дальше».

* * *

Но вот сейчас, когда я пишу эти строки, благодарю тот самый дурацкий канат: не будь его, я многое потерял бы в жизни.

День солнечный. Огороженная площадь бела, покрыта свежей порошей, хотя на улицах снег уже обратился в ореховую халву. Стою и разглядываю Аполлона на фронтоне Большого театра, выезжающего в колеснице, запряженной четверкой коней.

— Любуетесь Москвой? — сказал остановившийся передо мной высокий человек с проседью, в тонком пальто и модной тогда среди интеллигенции драповой шапочке «пирожком» на манер сербской (в это время турки уже резали

сербов). Он протянул мне руку, сбросив с нее вязаную перчатку.

— Здравствуйте, Петр Платонович,— обрадовался я.

— Вы, конечно, на репетицию?

— Да, но еще рано, вот и гуляю до двенадцати. День очень хороший.

— И прекрасно. Пойдемте в «Щербаки», выпьем кофе.

Мы двинулись по тротуару Малого театра по направлению к «Щербакам» на Петровке, против Кузнецкого моста. Этот трактир, в деревянном домике с антресолями, содержал старик Спиридон Степанович Щербаков, театральный друг Мочалова, благодетель бедных актеров и друг всех знаменитостей артистического мира. Не успели мы сделать двух шагов, как сзади звякнули шпоры и раздался голос:

— Князь, я вас вчера на бенефисе видел!

— Здравствуйте, Иван Львович!

Перед моим спутником стоял жандарм в пальто с полковничьими погонами и в синей холодной фуражке. Я невольно застыл перед афишей на стене театра и сделал вид, что читаю,— уж очень меня взволновал самый вид жандарма: паспорта у меня еще не было, а два недавних побега на Волге и на Дону еще свежи были в моей памяти. Я сразу даже не разобрал, о чем была афиша, потому что я делал вид, что читаю, а на самом деле прислушивался к разговору и помышлял, как бы провалиться сквозь землю, потому что бежать боялся: как бы не вызвать подозрения. До меня доносились отрывочные фразы полковника, на которые односложно, как-то сквозь зубы, будто нехотя, отвечал князь.

— Эту пьесу следует запретить... Довольно уж разной нигилятины и своей, а то еще переводная... Да там прямо призыв к бунту. Играли прекрасно... Ну, да только и она все-таки с душком... читает на вечеринках запрещенные стихи... Некрасова читает...

Князь что-то ответил — я не расслышал.

— Ну, я тороплюсь!

Щелкнули шпоры, и высокая фигура в сером пальто замоталась рядом с канатом.

— Это главный московский жандарм. Хитрая бестия. Идет к себе в канцелярию.

Петр Платонович Мещерский, которого жандарм называл князем, был действительно потомок обедневшей княжеской семьи. Прекрасно образованный, он существовал переводами, литературным заработком, гонораром за свои пьесы и был некоторое время в Москве мировым судьей. Его камеру охотно посещали газетные репортеры, находившие интересный материал для газеты. Это был очень остроумный человек, судья, умевший большинство дел решать примирением сторон. Он не давал в обиду бедноты, чем и прославился среди малоимущего населения столицы, не позволял выбрасывать на улицу семью бедняка за несвоевременный взнос платы. Если же какая-нибудь купчиха или ерепенистая барыня судилась с прислугой, то он умел так вышутить истицу, что вся камера покатывалась со смеху. Судил всегда по правде, и, в конце концов, снискав любовь и уважение населения, нажил себе врагов среди сослуживцев — судей другого типа и других взглядов.

— Какой-то нигилист, а не князь,— шипели на него родовитые дворяне.

Я с ним познакомился в первые дни моего поступления в Кружок, старшиной которого он был. Все вечера Петр Платонович проводил в Кружке, приходя поздно только в те дни, когда в Малом театре бывали новые постановки. Днем завтракал в «Щербаках», а потом, когда они закрылись, в «Ливорно» и у Вельде в актерских ресторанчиках. Его знали и любили все актеры, а в Малый театр он приходил, как домой. Его мнение об игре и постановке очень ценилось, и его указаний слушались знаменитости. Он был дружен с Островским, Юрьевым, Чаевым,

Лесковым и Горбуновым, я видел его неизменно в их компании в Кружке, когда они бывали там.

Он приходил рано, садился за свой любимый стол у камина, рядом с буфетной комнатой, и вскоре к нему подсаживались драматурги, актеры, литераторы. Он был центром для всех, а в «Щербаках» и «Ливорно», где постом все столы были заняты, пригласить Петра Платоновича к столу хотелось всякому, и он охотно знакомился с приезжими актерами, будь они первые персоны или простые хористы. Все знали театрала князя Мещерского и все знали, что он очень не любит, когда его титулуют князем.

— А у меня еще имя есть, Петром Платоновичем зовут,— говорил он кому-нибудь из новых знакомых, которые назовут его или князем или «вашим сиятельством». Последнего он особенно не любил. За глаза же и даже в провинции, рассказывая о Москве, актеры хвастались, что у них есть друг в Москве — князь Мещерский. И правда — бедноте он был друг, и к концу поста, когда актеры проживались до копейки, он многим помогал деньгами из своих очень небольших средств. Он был холост, жил одиноко в небольшом номере в доме Мосолова на Лубянке. Не играл в карты, не кутил, и одна неизменная любовь была у него к драматическому искусству и к перлу его — Малому театру, которому он был верен до самой смерти.

В 1908 году в юбилейную дату моей литературной работы я получил от него на полутора листах поздравление:

«В. А. Гиляровскому, старому театралу».

Все письмо — теплое и милое, написанное под его диктовку.

«Если Гиляровский хотя с малой сердечной теплотой вспомнит о нас, друзьях его детства, то для нас это будет очень приятно...

Да, это было очень давно, то было раннею весною, когда мы, от всей души любя здешний Малый театр, в его славное время, были знакомы».

Письмо было подписано: «Старый театрал, член Общества русских драматических писателей», и далее его собственноручная подпись дрожащей рукой, неровными буквами: «Князь Петр Пл. Мещерский». А внизу опять чужой рукой: «Новоекатериненская больница».

Через некоторое время после получения письма я пошел навестить старого друга, которого не видал много лет, но мне сказали, что его похоронили.

* * *

К театральному подъезду, скрипя по снегу железными шипами высоченных колес, дребезжа каждым винтиком, подползла облезлая театральная карета, запряженная парой разномастных «кабысдохов». Кучер, в рваном линючем армяке, в вихрастой плешивой шапке, с подвязанной щекой, остановил своих дромадеров, к великой их радости, у подъезда.

Из кареты легко выпрыгнула стройная девушка в коротенькой черной шубке с барашковым воротником и в такой же низенькой шапочке, какие тогда носили учительницы. Передо мною мелькнул освещенный солнцем нежный розовый профиль. Девушка быстро нырнула в подъезд, только остались в памяти серые валенки, сверкнувшие из-под черной юбки.

— Вы видели? — положив мне руку на плечо, сказал спутник.

— Славная барышня, уж очень у нее движения легки... Вся радостью сияет!

— Еще бы, в балете была. Да не в том дело... А вот вы верно сказали — вся радостью сияет... Это она после вчерашнего. Вы знаете, кто это? Это восходящая звезда!

— Не знаю.

— Ну, так знайте, что эту встречу вы не раз в жизни своей вспомните... Это наша будущая великая трагическая актриса. Я вчера окончательно убедился в этом... Не

забудьте же: это Ермолова! Вчера был «Овечий источник», седьмого марта 1876 года,— и указал на афишу, которую я читал, не понимая: жандарма заслушался.

Всю дорогу до «Щербаков» и сидя со мной вдвоем за ранним завтраком, еще в пустом зале, Петр Платонович говорил о ней. Я молчал и, кажется, только единственный вопрос предложил:

— О ком говорил жандарм? Кто это «она с душком»?

Задал этот вопрос, а сам думаю с трепетом: «Уж не Ермолова ли?»

Тут только я вспомнил афишу: «Овечий источник».

Оказалось, что именно о ней шла речь. Жандарм возмутился. Она выбрала для бенефиса революционную пьесу, он и припомнил ее участие на студенческих вечерах. Князь продолжал о бенефисе, рассказал сюжет «Овечьего источника», рассказал о детстве Ермоловой, о ее дебюте, о ее нараставшем успехе.

— И только вчера я неопровержимо убедился в этом. Вчера я пережил такие восторженные моменты, да не один я, а весь театр, такие моменты, каких до сих пор и в мечтах не было. Монолог Лауренции, обесчещенной командором ордена, владельцем Овечьего источника, призывающей на сходке народ отомстить тирану, вызвал ураган восторга, какого не запомнят. Особенно слова ее в монологе: «Почти своими сдали вы руками овечку бедную волчице хитрой», были произнесены с таким героическим энтузиазмом, какого никогда не слыхал даже Малый театр со времени, может быть, Мочалова.

* * *

Через двадцать лет, в 1896 году, в юбилейные дни Марии Николаевны, когда я читал о первых годах ее жизни, прочитанное показалось мне очень знакомым.

Я уже знал от Петра Платоновича, что пятилетняя Ермолова, сидя в суфлерской будке со своим отцом, была

полна восторгов среди сказочного мира сцены: увлекшись услышанным монологом, она, выучившись грамоте, учила его наизусть по пьесе, находившейся всегда у отца, как суфлера. Выучив, уходила в безлюдный угол старого заброшенного кладбища, на который смотрели окна бедного домика, где она росла. Там, на этом древнем погосте с вросшими в землю каменными гробницами, она декламировала монологи. Это грустное место было местом ее гулянья, первых игр, первых сценических восторгов. Вот этато глухмень и была для маленькой Маши ее детским садом, куда она вылезала из окна вровень с землей. Отец, бывало, на репетиции, мать хлопочет по хозяйству, а Машенька гуляет одна-одинешенька. Рвет единственные цветы — колючий репей, и в кровь руки исколет. Большие ливни вымывают иногда кости. Радости жизни у ребенка были: днем — пустырь и театр — вечером, и долго так было. А летом Машу увозили во Владыкино.

* * *

Подмосковное село Владыкино, в старину вотчина московских митрополитов, в половине прошлого века было в запустении: церковка, кладбище, поселок и речка Лихоборка, привлекавшая любителей удить рыбу.

В числе их был капельдинер Малого театра: он летом поселялся там с семьей. Вслед за ним его приятель, суфлер Ермолов, снял под дачу избушку на великую радость своей пятилетней дочки Маши, до того знавшей только погост возле церкви Спаса, близ Каретного ряда.

Росло Владыкино с каждым годом, росла Машенька и, когда сделалась актрисой, первым делом выстроила там дачу для родителей и всю свою жизнь проводила в ней каждое лето, за редким исключением отъездов на гастроли или для лечения в Висбаден. Так она полюбила свое Владыкино, что и похоронить себя завещала там, указав место рядом с отцом.

Девяти лет отец отдал ее в театральную школу, где на драму не обращалось внимания, а главным был балет. Танцовали целый день, с утра до вечера, и время от времени учениц посылали на спектакли Большого театра «к воде». Не давались танцы кипевшей талантом девочке и не привлекали ее. Она продолжала неуклонно читать все новые и новые пьесы у отца, опять переписывала излюбленные монологи, а то и целые сцены, и учила, учила их. Отец мечтал перевести ее в драму и в свой бенефис, когда Маше минуло тринадцать лет, выпустил ее в водевиле с пением, но дебют был неудачен.

Прошло еще три года. Отец попросил И. В. Самарина, и он, по дружбе, согласился поучить дочь, но через два-три дня от уроков отказался и посоветовал оставить дочь в балете.

А она упорно не бросала своего. В училище во время отдыха она читала товаркам монологи и восхищала их.

Репетировали для бенефиса Н. М. Медведевой пьесу «Эмилия Галотти». Пьеса, по обыкновению, находилась у отца, и дочка, как и всегда, прочла ее, увлеклась, переписала, выучила роль Эмилии и опять в школе прочла товаркам.

Перед бенефисом заболела Г. Н. Федотова. Бенефис под угрозой. Играть некому. Кто-то из школы шепнул Медведевой о дочери суфлера, читавшей роль Эмилии. Медведева прослушала, ей понравилось, и тридцатого января 1870 года в роли Эмилии вместо Г. Н. Федотовой выступила молоденькая, неведомая никому балетная ученица.

С каким восторгом рассказывал мне все подробности Мещерский, очевидец первого триумфа Ермоловой! На его добрых серых глазах блестели слезы, когда он говорил об этом дебюте.

— С трепетом сердца я пришел в театр. Первое появление на сцене грациозной в своей простоте девушки очаровало зал, встретивший ее восторженными аплодисментами.

Успех был огромный. На другой день рецензии всех газет были сплошной похвалой молодой артистке, и положение ее в труппе сразу упрочилось. А там, что ни новая роль — будь то Марфинька в «Царской невесте», Весна в «Снегурочке», Катерина в «Грозе», Альдора в «Сумасшествии от любви», Жанна д'Арк, Лауренция и т. д.,— каждый раз новый успех.

* * *

И вот двадцать второго мая 1922 года, в день всенародного чествования Марии Николаевны в Малом театре, я вспомнил слова Петра Платоновича, его тихий восторженный голос.

Через сорок лет вспомнил. Я сидел на сцене среди депутаций и, вместо приветственной речи, под влиянием общей взволнованности, памятуя вещее слово незабвенного Петра Платоновича, приветствовал великую артистку тут же на программе набросанным экспромтом:

Полвека славы,
Красивой жизни,
Одна, одна вы
У нас в отчизне.
Без перемены,
Тогда и ныне,
Вы русской сцены
Одна богиня.
Одна, одна вы
У нас в отчизне,
В сиянье славы
Кипучей жизни.

Вещими оказались слова Мещерского:

— Это восходящая звезда.

* * *

Тогда в первый раз я увидел ее только на один миг. Сверкнул розовый профиль в морозный день на алмазном фоне солнечного снега площади

Через несколько дней после этой первой встречи совершенно неожиданно я встретил эту восходящую звезду в окружении светил. Это было в Артистическом кружке.

По случаю болезни двух главных артистов драму решили заменить музыкально-литературным вечером, программа которого была составлена на утренней репетиции. Участвующие частью приглашены были тут же, а если кто не явится, его рассчитывали заменить кем-нибудь из провинциальных известностей, из которых каждому было лестно выступить на московской сцене.

Наш актер А. М. Максимов сообщил, что приехавший утром в Москву И. Ф. Горбунов прочтет рассказ из народного быта. В. А. Бельская и В. И. Родон обещали дуэт из оперетки, Саша Давыдов споет цыганские песни, В. И. Путята прочтет монолог Чацкого.

П. П. Мещерский прямо с репетиции поехал в «Щербаки» пригласить своего друга — чтеца П. А. Никитина, слава о котором гремела в Москве, где он сверкнул несколькими гастролями в Общедоступном театре; с тех пор он в столице еще не выступал, несмотря на постоянные приглашения и желание артистов Малого театра послушать его. В числе последних была и М. Н. Ермолова, сама прекрасная чтица, давно мечтавшая услышать чтение П. А. Никитина, предпочитавшего гастроли постоянной службе в одном городе.

Дирекция успокоилась, потому что такой состав сохранял сбор, ожидавшийся на отмененную «Злобу дня», драму Потехина, которая год назад прошла с огромным успехом в Малом театре, но почему-то была снята с репертуара.

Главную женскую роль тогда в ней играла М. Н. Ермолова. В провинции «Злоба дня» тоже делала сборы. Особый успех эта пьеса имела потому, что в ней был привкус скандала.

Открыто говорили, что три действующих лица списаны с натуры: петербургский крупный делец барин ...ищев —

московский миллионер, разбогатевший на железнодорожных подрядах Петр Ионыч Губонин и его сын Сережа, которого знали посетители модных ресторанов, как вообще знали там молодых купеческих сынков, не жалевших денег.

Хотя Потехин и отнекивался, когда ему указывали, что он вывел известных людей, но ему трудно было оправдаться. В афише печатными буквами стояло опровержение, разбивавшее его самозащиту: Градищев, железнодорожный деятель, подрядчик Хлопонин, сын его Сергей Петрович.

Какие созвучия фамилий! А главное вот, Сергей Петрович, Сережа.

По пьесе Хлопонин хочет женить своего сына на дочери Градищева, в которую тот влюбился и которая, в свою очередь, влюблена в другого. В этом драма. В связи с запутанными обстоятельствами Градищев приехал к Хлопонину, товарищу по подрядам, с просьбой выручить его деньгами. Хлопонин обещает, но взамен просит выдать дочь за своего Сережу. Градищев считает себя оскорбленным таким предложением и, рассерженный, выходит из кабинета миллионера, не простившись с хозяином, хлопнув дверью.

Оставшись один, Хлопонин расстегивает свой долгополый сюртук, вынимает бумажник, хлопает по нем ладонью и самодовольно бросает вслед оскорбленному барину:

— Придешь!

Этот конец акта имел особенно большой успех.

— Как живой Петр Ионыч,— кинул кто-то в первом спектакле Малого театра крылатое слово, и на другой день весь купеческий «город», обычно живущий сплетнями, задыхался от смеха:

— Как Губонина-то процыганили!

— Да что ты?

— И сюртук долгополый, и золотая цепь через шею, и сапоги бутылками! Ну, как есть живой! И ухватка вся его. И Сережа его... ну, как есть купецкий сынок.

Губонин был крупный миллионер, начавший свою деятельность десятником при постройке Московско-Рязанской железной дороги и ставший впоследствии владельцем «крымской жемчужины» — Гурзуфа.

* * *

Литературно-музыкальный вечер, назначенный вместо спектакля «Злоба дня», оправдал надежды устроителей его.

Сбор в Кружке был полный. Взявшие билеты на «Злобу дня» охотно остались на литературный вечер, на дивертисмент с такой интересной программой. Тогда были в моде дивертисменты, а в провинции особенно. Редкий бенефис обходился, чтобы после главной пьесы не было дивертисмента: в те годы очень любили слушать чтение, и чтецы тогда были прекрасные.

Читка стихов считалась большим искусством, идеал чтения — чтобы стиха слышно не было. Старая мода скандирования стихов премевшими трагиками уже прошла, мелодекламация, скрывающая недостатки стиха, была не нужна. Стихи выбирались «по Пушкину»: «если брать рифму — бери лучшую», да и содержание выбиралось глубокое, а главное, по возможности с гражданской скорбью и уж всегда со смыслом. Особенно слушался Некрасов.

В провинции дивертисменты имели больше успеха, чем в столицах, да и чтецов между провинциальными премьерами больше было. В семидесятых годах на обе столицы славился Монахов, но он был гораздо слабее провинциальной знаменитости — актера П. А. Никитина, производившего огромное впечатление своим впервые введенным чтением, «что стиха не слышно». Он был великолепный Чацкий, но он не играл, а «читал» Чацкого, но так читал, что об игре никто и не думал. Монолог «Не образумлюсь, виноват» вызывал бурю восторга. Никитина Москва жаждала слышать в Кружке, но он упорно в нем не хотел

выступать, хотя во время великопостных съездов заезжал в Кружок.

Москва его видела в нескольких ролях в Общедоступном театре на Солянке, где он прослужил как-то сезон. И теперь появление его имени на афише, вывешенной в залах и у входа в Кружок, произвело впечатление.

* * *

Днем я побывал у моих провинциальных друзей и явился в Кружок ко второму звонку, когда зал был полон и все сидели на местах, боясь пропустить Никитина.

На сцене разодетые участники: фраки мужчин и открытые платья артисток среди пиджаков старшин. На занавеси, как и во всех театрах, посреди сцены была прорезана дырочка, которая необходима режиссеру для соображения, как сбор, разместилась ли публика, можно ли начинать.

Две дырки были пробиты в правой кулисе авансцены, где стояли табуретки и стул для помощника режиссера: мое место в спектакле. Я рассматривал знакомых, которых узнал в Кружке и знал по провинции. Ко мне подошел Мещерский, сел на табурет и сказал:

— Ермолова здесь. Я отвел ей кресло, все хотела Никитина послушать. Собственно, я для нее больше и постарался пригласить Павлика. Он не любит выступать в Москве. Для нее он и читает и в десять часов прямо из Кружка на поезд. Только для нее и остался, уж я упросил.

— Где она?

— А узнайте!

— Вот против меня... Другой такой нет!

Программ печатных не было, и перед выступлением режиссер Карташев анонсировал:

— Павел Александрович Никитин прочтет стихотворение из сборника «Живая струна».

Тогда для цензуры не назывались стихотворения, а прямо писали или анонсировали из сборника «Живая струна»,

так как сборник этот был единственный, допущенный цензурой для сцены.

Гром аплодисментов грянул в ответ. Особенно усердствовали провинциальные актеры, товарищи Никитина по сцене, и антрепренеры, съехавшиеся в Москву для заключения контрактов. Здесь восседал казанский антрепренер Медведев, орловский — Лаухин, самарский — Новиков, нижегородский — Смольков и ярославский — Смирнов, бывший театральный ламповщик, ухитрившийся жениться на дочери антрепренера и получивший после его смерти театр. Его звали «потому что да-да-да», за поговорку, которую он то и дело повторял. У него в начале своей карьеры выступала М. Г. Савина.

Сидели здесь южные антрепренеры, и между ними харьковский Иванов-Палач, безобиднейший человек, прозванный так за то, что «палач» было его единственное ругательство, вырывавшееся у него в минуту крайнего раздражения.

— Палач! Палач! — кричал он на полицмейстера, запретившего какую-то пьесу.

Летом, когда перед спектаклем покажется туча, начинает рокотать гром и грозит дождь, который сорвет сбор, Иванов влезал на крышу театра с иконой молить Илью Пророка, чтобы он направил свою колесницу мимо Харькова, а если Илья Пророк не послушает, пойдет дождь, Иванов брал икону подмышку, грозил кулаком в тучи и с привизгом кричал:

— Палач! Палач!

А на другой день Илье Пророку в знак покаяния молебен служил.

Первые ряды кресел заняли знаменитости сцены и литературы, постоянные посетители Кружка, а по среднему проходу клубочком катился, торопясь на свое место, приземистый Иван Федорович Горбунов, улыбаясь своим лунообразным, чисто выбритым лицом.

Когда Горбунов приезжал из Петербурга, из своей Александринки, он всегда проводил вечера в Кружке. Теперь он обрадовался увидеть своего друга, с которым они не раз срывали лавры успеха в больших городах провинции: один — как чтец, другой — как рассказчик и автор сцен из народного быта.

В этот момент поднялся занавес, и показался стройный и высокий, можно сказать — величественный, знаменитый чтец. Загудели и сразу все смолкли, положительно замерли, когда, отвечая на привет легким наклоном головы, чтец остановился рядом с суфлерской будкой.

Он на минуту как бы задумался... с чего начать?

— «Поля»! «Поля»! — раздался шопот, и громче других голос Горбунова, занявшего свое место в первом ряду, между Г. Н. Федотовой и небрежно одетым маленьким человечком с русой бороденкой, спокойно дремавшим под гул аплодисментов. Это был драматург М. В. Кирилов-Карнеев, автор массы комедий, переводных и переделанных, которые чуть не ежедневно шли и в Малом театре, и в Кружке, и по всей провинции и давали ему большой заработок. Сам же он всегда был без гроша: раздаст половину, а другую пропьет. А пьяным был постоянно, но всегда тих и безмолвен. Звали его за глаза Кирюшка-Корнюшка, но все любили его. Он напивался молча и, придя в зрительный зал, неслышно дремал, а то и засыпал в кресле.

— «Поля»! «Поля»! — раскатился знакомый в Москве громовой голос.

Это гудел трагик Рыбаков. Он сидел в середине первого ряда со своим другом А. Н. Островским, который около гиганта казался маленьким. М. Н. Ермолова сидела против меня, левее А. Н. Островского, между косматым Юрьевым и Рено, любительницей-артисткой, первой московской красавицей: строгие, правильные черты лица, глубокие черные глаза... и неподвижность классической статуи.

С благодарной улыбкой взглянул Никитин на Николая Хрисанфовича Рыбакова, поздоровался глазами с Горбуновым и, когда смолкли аплодисменты, четким полушопотом, слышным во всех концах огромной залы, заявил:

— «Поля». Стихотворение Майкова.

И полились чудные слова и звуки, дополняя одно другое, и рисовались ясные образы, рожденные словами поэта и переданные слушателям голосом чтеца.

Я невольно скользнул взором по первому ряду. У Г. Н. Федотовой горят глаза. Недвижная, может быть, думая только о своей красоте, красуется Рено, сверкая бриллиантовой брошкой. А рядом с ней М. Н. Ермолова в темно-сером платье — боится пропустить каждый звук.

В телеге еду по холмам,
Порой для взора нет границ,
И все поля по сторонам,
А над полями стаи птиц...

Ермолова — вся внимание. Ее молодое лицо живет полной жизнью и отражает впечатление. Я не свожу с нее глаз. Какая-то таинственная грусть мерцает в ее глазах. И всегда впоследствии, до последней моей встречи, я видел эту грусть. Даже в ролях, когда вся она кипела могучим, неповторимым призывом, как в Лауренции или Жанне д'Арк, я видел этот мелькавший налет грусти.

Родилась ли она с ней? Залегли ли ее тени в тяжелые дни детства? Сказывались ли дни монологов в одиночестве на забытом кладбище? Но и теперь, после ее великой победы — недавнего бенефиса,— когда именно жить да радоваться, я видел отблеск этой таинственной грусти.

Я еду день, я еду два,
И все поля, кругом поля...
Мелькнет жилье, мелькнет едва,
А там поля, опять поля...

Под голос чтеца думы и воспоминания ползут, цепляются одно за другое и переносят меня на необъятный про-

стор безбрежных золотых нив... И все, кто слушает, видят воочию все то, что слито поэтом и неповторимым чтецом в мелодию созвучий:

Порой ручей, порой овраг,
А там поля, опять поля...

Я не свожу глаз с Ермоловой. Она живет... Она идет по этим полям в полном одиночестве и радуется простору, волнам золотого моря колосьев... стаям птиц. Это я вижу в ее глазах. Для нее нет ничего окружающего: ни седого Юрьева, который возвеличил ее своей пьесой, ни Федотовой, которая не радуется новой жизни, ни Рено с ее красотой, померкшей перед Ермоловой, полной подъема и свежести... Она смотрит вдаль... видит только поля, поля:

Порой ручей, порой овраг,
А там поля, кругом поля...
И в золотых опять волнах
С холма на холм взлетаю я...

Короткая пауза, и глаза чтеца все так же смотрят куда-то вдаль. Во время чтения ни малейшего движения, ни одного жеста — только лицо и глаза его живут. Он спокойно передает словами то, что он переживает, чувствует, ощущает.

Глядя вдаль, он спрашивает:

— Но где же люди?

И отвечает:

— Ни души среди забытых деревень...

И потом так же спокойно рассказывает о встрече со стариком, который просит его подвезти. Предлагает ему сесть рядом с собой, но тот, бывший барский камердинер, после объявления воли выброшенный наследниками за старостью и недовольный всем, еще помнящий барскую дисциплину, отказывается и садится рядом с ямщиком на облучок, ворчит и ругает все новое, даже волю.

Отживший мир в его лице,
Казалось, силы напрягал...

Идет разговор со стариком, который кивнул головой на молодого парня-ямщика. И все мы, зрители, видим и парня-ямщика и старого камердинера.

Глаза Ермоловой опять покрылись дымкой грусти, но это было уже в последний раз.

Сердито бросает старик:

«Вот парень вам из молодых...
...Спросите их,
Куда глядят? Чего хотят?»

Парень в недоумении:

Никак желанное словцо
Не попадало на язык...
«Чего?» — он начал было вслух...
Да вдруг как кудрями встряхнет,
Да вдруг как свистнет во весь дух,
И тройка ринулась вперед,
Вперед, в пространство без конца...

Ермолова откидывается на спинку стула. Мерцавшие зарницы сменились в ее глазах сверкнувшей молнией, будто она сама мчится на бешеной тройке:

Вперед, в пространство без конца...

А чтец между тем заканчивает:

Неслись. «Куда ж вас дьявол мчит?!» —
Вдруг сорвалось у старика.
А тот летит, лишь вдаль глядит...
А даль то, даль как широка!..

В ПРОВИНЦИИ

Зимний сезон 1875—1876 года кончался. Мне предстояло или остаться в летнем помещении Кружка в Москве или уехать в Смоленск. Я был в раздумье, но опять случай выручил.

Встретил я казака Бокова, с которым познакомился еще в мои цирковые времена, и он позвал меня к себе на Дон.

— Степь-то какая сейчас! Съездим на Кавказ. Надо кабардинских маток купить. Поживем лето в зимовнике.

И неудержимо потянула меня степь-матушка.

Уехали мы на другое утро скорым поездом. Я не простился ни с кем в Москве. Я всю Москву забыл. Да и до Москвы ли тут! За Воронежом степь с каждым часом все изумрудела... Дон засинел... Издали... А там в первый раз и синь моря увидал.

Зимовник оказался благоустроенным. Семья Бокова приняла меня прекрасно. Живу и не нарадуюсь.

Собрались мы с моим другом на Кавказ за лошадьми. У Бокова знакомства большие. Таскали нас как дорогих гостей из аула в аул. Устраивали охоты...

Недели три гуляли. Наконец, Боков зовет домой ехать.

— Пора. Скоро дед именинник. Большой праздник будет. Весь Дон съедется. Из Черкасска приедут — а уж соседи все будут.

И сразу мне настроение испортил. Узнают да еще арестуют. Я промолчал и решил удрать дорогой.

Так и сделал. Где только я не скитался, каких только людей не повидал... Всему этому, может быть, будет время .. Расскажу...

А сейчас...

Пароход бежит по Волге,
Чрез забор глядит верблюд,

импровизирует на корме парохода высоким дискантом, под немудрящую гармошку, молодой малый в поддевке и картузишке, расположась на круге каната, а я сижу рядом, на другом круге, и слушаю его. Убеждаюсь, что он поет с натуры, что видит, то и поет.

Наш товаро-пассажирский пароход тихо и лениво тянется вверх почти у самого берега. На неоглядном гори-

зонте выгоревшей степи живой сюжет, вдохновивший импровизатора-гармониста. У самого берега одиноко стоит какой-то сараюшко, из-за дощатой загородки высится шея верблюда. Он жует и лениво поворачивает голову по мере движения парохода. Может быть, слушает гармошку. Он не знает, что певец в поддевке, пропахшей рыбой, как и все мы, палубные пассажиры, проспавшие между кулями сухой воблы, вдохновленный им, поет про него, а другой пассажир, в такой же поддевке, только новенькой и подпоясанной кавказским поясом, через пятьдесят лет будет писать то же о нем и его певце.

Ведь на самом деле талантливый импровизатор: в двух строках обрисовано все; а главное, место уж очень точно обозначено: пароход «бежит» по Волге, и видно, что он бежит по низовой Волге, потому что уж выше Симбирска и верблюда на Волге не увидишь.

Когда я, спустя некоторое время, будучи в Саратове, за ужином после спектакля рассказал товарищам актерам об этом импровизаторе и припомнил куплет о верблюде, все посмеялись и перешли на другие анекдоты. Только В. П. Далматов переспросил меня:

— Так вы говорите: через забор смотрит верблюд?

— Нет! Чрез забор глядит верблюд!

Далматов достал из бокового кармана щегольской визитки сафьянную, тисненную золотом записную книжку, вынул из нее карандаш с ручкой слоновой кости и что-то записал. Но на это никто тогда не обратил внимания.

* * *

В Саратов я попал скоро после этой встречи с импровизатором, прямо с «Дружининского» парохода, так что еще запах воблы от моей поддевки долго ощущался. На пароход этот я сел в Царицыне, куда благополучно прибыл из Деленчукских степей, из-под шатров снеговых вер-

шин на далеком горизонте. В Ростове я облагообразился у парикмахера и купил прекрасные сапоги с лаковыми отворотами и медными подковками, тонкого сукна поддевку, сшитую, как тогда было модно, по-донскому, на манер чекменя.

В Царицыне, увидав с великой радостью Волгу, вспомнил свою жизнь бурлацкую и в память нюхаря Костыги, моего лямочного друга, купил берестяную с фольгой тавлинку и четвертку ярославского нюхательного табаку, дунаевского мятного,— он летом хорош, мята в носу холодит. Понюхал и ожил!

Бегу «вверх по матушке по Волге», а куда попаду — сам не знаю. Разные мысли есть, но все вразброд, остановиться не на чем. Порадовал из Ростова отца письмецом после очень долгого молчания и обещал приехать. Значит, путь открыт, а все-таки как-то не хочется еще пока... Если не приеду, отец скажет только:

— Не перебесился еще!

И он совершенно прав: еще не перебесился.

Садясь в Царицыне, я билет почему-то взял до Саратова. Оказалось, что именно так и надо было взять. Спускаюсь с палубы вниз в буфет и окончательно убеждаюсь в этом, увидав на стене афишу, где преогромными буквами напечатано: «Идиот». Вот обрадовался! И было чему: не спустись в буфет, не прочитай афишу, я не попал бы в театр, а уехал бы в Москву.

Подхожу ближе и читаю: «Идиот», и далее мельче: «Тайны Гейдельбергского замка», драма в пяти действиях, перевод с немецкого. Сбор поступает в пользу раненых».

Оказывается, в Саратове в обоих летних театрах — «Сервье» и «Барыкина» — играет труппа драматических артистов под управлением А. И. Погонина. Режиссер Н. С. Песоцкий. Еще несколько знакомых фамилий: известный комик Большаков Аркаша и полуграмотный дубинообразный красавец Григорий Розанов. Розанов была его фами-

лия по сцене, а настоящая фамилия — Дубинин. На дверях его квартиры в Тамбове висела напечатанная крупно визитная карточка: «Артист Гр. Дубинин-Розанов».

Пускай, мол, кто не знает, подумает: артист граф Дубинин-Розанов.

А шутник Вася Григорьев взял и поправил карточку — вышло: «Артист граф Дубина-Роза». Так и осталось за ним «Дубина-Роза», хотя он и заменил фамилию «Розанов» на «Беляев». Он играл вторые роли «рубашечного» характера.

Со всеми ими я служил в 1875 году в тамбовском театре у Григорьева.

Прямо с парохода я отправился в театр на репетицию. Багажа у меня не было никакого, кроме скромно отделанного серебряными бляшками сыромятного пояса, ловко стягивавшего мою поддевку, так же как еще недавно он стягивал в осиную талию мою щегольскую черкеску.

Проходя мимо шляпного магазина, я зашел и купил чесучовый картуз военного образца, конечно, без кокарды, и, довольный своим видом, остановился перед входом в сад, откуда доносились звуки репетировавшего оркестра.

Улица, очень чистая и широкая, с садами, разделявшими небольшие дома, была пуста. Только вдали виднелась знакомая фигура, в которой я сразу узнал Песоцкого.

Прекрасный актер на роли холодных любовников-фатов, он и в жизни изящно одевался, носил небольшие усики, они так шли к его матово-бледному продолговатому лицу, которое или совсем не знало загара или знало такие средства, с которыми загар не в силах был бороться.

— Николай Саввич! — остановил я его, когда он подошел ко входу в сад.

— Ба! Какими судьбами? Рад вас видеть. После Тамбова мы ведь только в Кружке виделись... Что поделываете? Служите?—весело засыпал меня вопросами Песоцкий.

— Нет, думаю, нельзя ли к вам?

В. А. Гиляровский.

— Ну, вот и отлично. Кстати у нас Никольский заболел, вы вместо него сыграете Роллера.

Песоцкий взглянул на часы, взял меня под руку. Мы свернули с главной аллеи, в конце которой был виден театр, в глухую улицу.

— Да, Роллера! Вы кого тогда играли в Тамбове? — Мы сели на скамейку в густых зарослях жасмина.— Прекрасно сыграете Роллера, я еще его сокращу.

— Я помню пьесу... И Роллера помню. Еще гимназистом читал «Разбойников».

— То, что вы читали, и то, что мы играем,— вещи совершенно разные: мы играем Шиллера по-летнему. Ну, да все равно. Словом, вы служите и сегодня играете Роллера.

— Очень вам благодарен, Николай Саввич.

— Вам, конечно, деньжат нужно? — спрашивает он меня.— Много дать не могу, но на расходы...

— Не беспокойтесь о деньгах,— перебил я его,— у меня еще хватит.

— Откуда вы сейчас таким бронзовым?

— С Кавказа да из степей.

— Прелесть! На Роллера и грима лучшего не надо. Только не вздумайте сегодня бриться, а то в полумаске очутитесь. Завтра побреетесь. Идем! Звонят!..

* * *

— А вот вам и Роллер,— представил меня Песоцкий собравшейся на сцене труппе во главе с Погониным.

Оказались старые сослуживцы и знакомые по Московскому артистическому кружку.

Песоцкий взял тетрадку, возвращенную Никольским, вычеркнул всю сцену первого акта и значительно сократил сцену во втором, оставив только самую эффектную суть. Суфлер повторил вымарки в писанной пьесе и передал мне роль, которой осталось странички полторы только во вто-

ром акте. Ремарка такая: «Роллер вбегает без шляпы, в одной рубахе, порванной в клочья, везде сквозит тело, на шее веревочная петля».

* * *

После репетиции я обедал в саду в товарищеском кругу и тут же нашел себе квартиру у двух актеров — Симонова и Карина,— снимавших маленький дачный домик.

Суфлер дал мне пьесу, написанную четким прекрасным почерком, перекрещенную карандашами всех цветов и вдобавок украшенную чернильными надписями и между строк и на полях разными почерками.

На заглавном листе: «Разбойники, трагедия Шиллера, в 5 действиях и 12 картинах». Имени переводчика не было. Вообще, тогда, не раз участвуя в пьесе в разных провинциальных театрах, я никогда не видал, чтобы играли по печатному экземпляру, а писанные,— думаю, что с одного оригинала, именно такого же, какой я видел у Песоцкого,— были во всех театрах. Притом каждый Франц и каждый Карл имели свой экземпляр и нередко со своими сокращениями и вставками. Но все виденные мной экземпляры были сценичны и весьма умело сокращены. Даже экземпляр, сокращенный «по-летнему»,— летняя публика любит покороче,— был весьма ловко сделан.

Впоследствии, сравнивая такой экземпляр с переводами Сандунова, Кетчера и Достоевского, я находил в нем сцены, каких не было в этих переводах, может быть, они были взяты с французского перевода «Разбойников» Шиллера или, скорее, из французской переделки, переведенной потом на русский язык Ивановым.

Но что это сделано было сценично — отрицать нельзя: масса выигрышных мест. Я на себе испытал это в Роллере. Песоцкий очень умело сократил роль, дал мне несколько указаний — и я неожиданно имел крупный успех.

* * *

В первом акте я выходил Роллером без слов, одетый в черный плащ и шляпу. Одевался я в уборной Песоцкого, который в этом спектакле не участвовал, уступив свою любимую роль Карла молодому актеру Далматову. Песоцкий вошел ко мне, когда я только что надел чулки и черные трусики, туго перехватив их поясом, обулся в легкие башмаки без каблуков, вместо тяжелых высоких сапог, и почувствовал себя вновь джигитом и легким горцем. Я встал перед зеркалом.

— Какая красота! Вот такой и был Роллер,— услыхал я слова Песоцкого.— Знаете, что? Никакой рубашки, никакого верхнего платья! Только одна петля на шее. Какая красота! Да откуда вы весь бронзовый? Какие мышцы!

— В степях загорел... Да в цирке немного поработал!

— Скоро выход, я иду в партер вас смотреть!

Перед самым выходом на сцену я прошел в дальнюю, глухую аллею сада, пробежался, сделал пяток сальтомортале и, вернувшись, стал между кулисами, запыхавшись, с разгоревшимися глазами. Оглянул сцену, изображавшую разбойничий стан в лесу. Против меня, поправее, у суфлерской будки, атаман Карл с главарями, остальные разбойники группами. Пятеро посредине сцены, между мной и Карлом, сидят около костра.

Седой сценариус Яковлев сверкнул на меня очками и предупредительно поднял руку, но я сам слушаю знакомые реплики. И в тот момент, когда Яковлев опустил руку, я рванулся на сцену, будто продолжаю дальний бег, перепрыгиваю всю группу около костра и еще через два прыжка останавливаюсь перед атаманом, высоко поднимаю руку с веревочной петлей на шее и отчеканиваю на высокой ноте:

— Я сорвался с виселицы.

Разбойники, через которых я перепрыгнул, вскочили и остолбенели. Пауза удивления. Далматов глядит на меня восторженными глазами.

— Да, я сорвался с виселицы. Прямо с виселицы, говорю вам,— и бросаю с шеи петлю к ногам Далматова.— Дайте водки!

Подают флягу. Пью.

— Ух! С меня сорвали рубаху, накинули эту петлю...

Опять пью. Публика аплодирует.

* * *

Дебют был удачен. На другой день шла «Свадьба Кречинского», я играл купца Шебнева и удостоился вызова. В «Разбойниках» вчера я выходил вместе с Далматовым под фамилией Никольского, а сегодня Погонин, не спросив меня, поставил мою настоящую фамилию, чему я в конце концов был рад.

Мне стали давать роли, отношение товарищей прекрасное, завелись приятные знакомства. Сборы все время хорошие, несмотря на то, что все были встревожены войной и волновались, когда получались нерадостные известия.

В один из призывов ополченцев я зашел случайно в думу, где был прием, да и заявил о желании итти охотником.

Телеграфировал отцу, что иду на войну, он мне выслал метрическое свидетельство, и с первым же эшелоном отправился в действующую армию на Кавказ.

По окончании войны начальство предложило мне службу, но у меня в кармане уже лежало письмо от Далматова, приглашавшее меня в Пензу, где он держал театр.

* * *

В Пензе я играл под псевдонимом Соллогуба, был помощником режиссера и много работал вместе с Далматовым, который только что разошелся со своей третьей или, может быть, пятой женой и весь отдался театру.

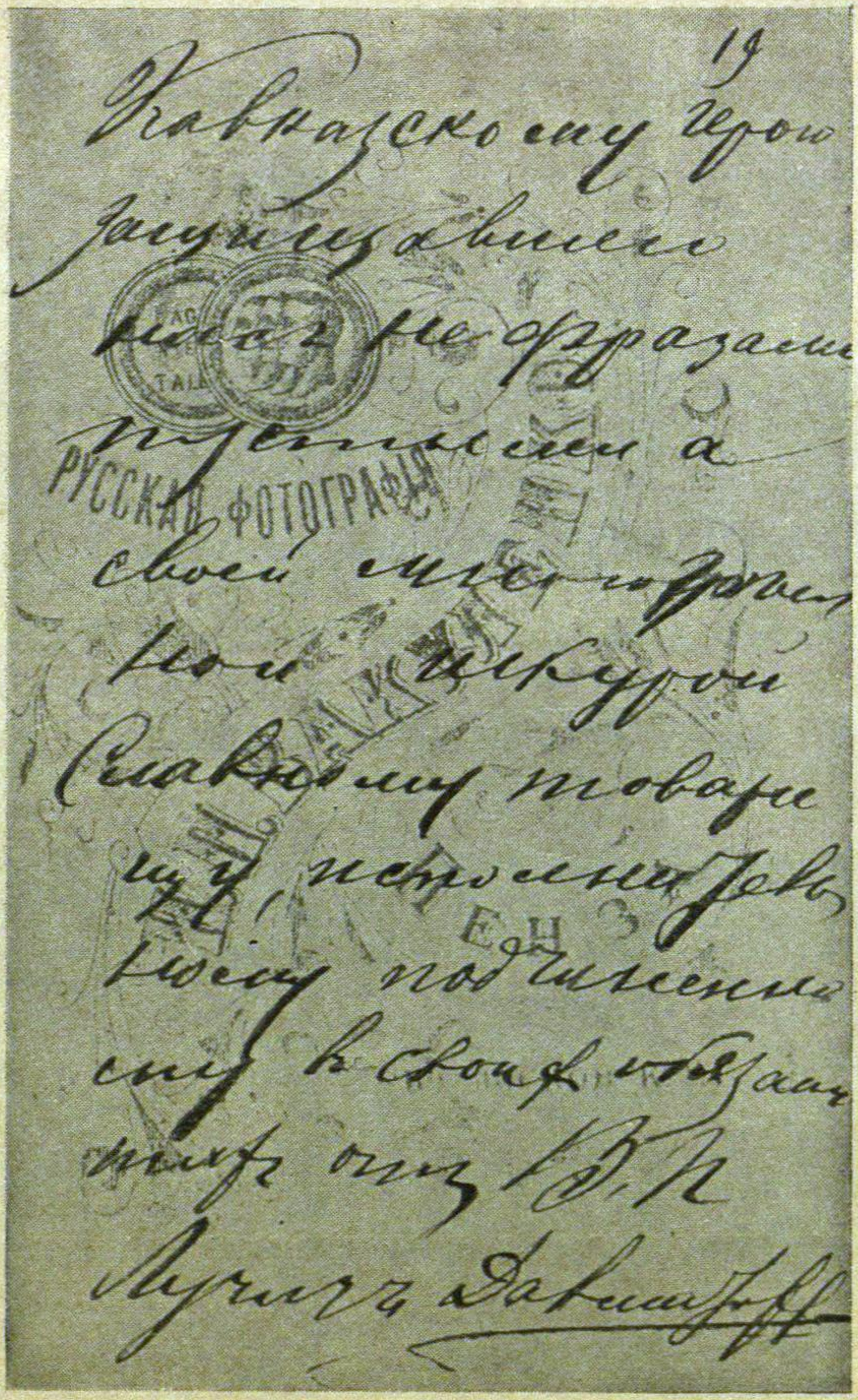
Мы приводили с ним в порядок большую театральную библиотеку, на что уходило все свободное время. Впрочем, это не мешало нам написать вместе одну фривольную пьесу,

а иногда кутнуть и гульнуть во-всю. На первой неделе поста большинство актеров уже уехали в Москву заключать контракты на следующий сезон, кроме тех, которые остались служить у Далматова на будущую зиму. Далматов никогда не ездил постом в Москву: он получал столько предложений, что мог всегда составить прекрасную труппу, сидя на месте. Я, конечно, будучи его секретарем, помогал в подборе актеров и вел всю переписку, а он только важно, с шикарным росчерком, подписывал: В. Лучич-Далматов. Лучич была его настоящая фамилия. Он родом был далматинец, почему и взял такой псевдоним. Детство Далматов провел в Кишиневе и Одессе, и в дружеском кругу рассказывал, что один из его родственников занимал на юге какую-то важную должность и чуть ли не был другом Пушкина. Потом Далматов сразу переходил на те времена, когда он в первые годы сценической деятельности голодал, ночевал на улице и ходил в поисках места пешком из города в город. Прекрасный актер, он был таким же замечательным антрепренером. К нему охотно все шли служить, и не было случая, чтобы Далматов когда-нибудь не заплатил в срок. Во время сезона в Пензу то и дело приезжали, вернее — пешком приходили, разные Крокодиловы-Нильские, Таракановы-Вяземские, и каждому давались деньги, чтобы добраться до Москвы. А если объявлялись бывшие сослуживцы, Далматов брал их на службу в переполненную труппу. Авансами его разоряли, а отказать никому не мог. Театральные дела у него всегда шли прекрасно. Дворянская Пенза тогда еще проедала остатки своих имений и широко меценатствовала. В бенефисы любимых актеров ложи бенуара блистали прекрасно одетыми аристократками, а бельэтаж — форменными платьями и мундирами учащейся молодежи.

В этот сезон Далматов закончил свою пьесу «Труд и капитал», которая была запрещена и после уже, через несколько лет, шла под каким-то другим названием. В этот

В. П. Далматов

Сталинградская
областная
библиотека
им. М. Горького



Автограф В. П. Далматова на обороте фотографии

же год он начал автобиографическую повесть, в которой вывел актера-бродягу, написавшего «Катехизис актера».

В «Катехизисе» были такие строки: «Уважай труды других — и тебя будут уважать. Будучи сытым, не проходи равнодушно мимо голодного. Не сокращай жизни ближнего твоего ненавистью, завистью, обидами и предательством. Облегчай путь начинающим работникам сцены, если они стоят того... Актер, получающий жалованье и недобросовестно относящийся к делу,— тунеядец и вор. Антрепренер, не уплативший жалованья,— грабитель».

Это были органические черты Далматова. Таким я знал его в Саратове, Пензе, Воронеже.

* * *

Мы собирались с Далматовым итти завтракать, когда сторож ввел в кабинет И. К. Казанцева, известного актера и антрепренера. С Далматовым они расцеловались, как старые друзья.

Казанцев, проездом из Самары в Москву, заехал в Пензу, чтобы пригласить Далматова на летний сезон в Воронеж, где он снял театр. Далматов отрекомендовал меня и предложил взять. В два слова кончили дело, и тут же Казанцев пригласил меня помощником режиссера. Думалось мне, что меня он взял как привесок к Далматову, как кость или жилу, которую прибавляли, как нагрузку, к хорошему куску мяса.

— Ну, а теперь угостим дорогого гостя. Идите к Варенцову и заказывайте завтрак, а я через десять минут буду, только занесу деньги,— сегодня срок аренды театра.

Яркий солнечный день. Снег, тот самый весенний яркий снег, о котором говорят: «молодой за старым пришел», слепил глаза. Реомюр на стене театра показывал семь градусов. Ноги скользили — лед здесь никогда не чистили с тротуаров, и мы шли под руку ради взаимной страховки от падения.

Налево сверкала алмазами белоснежная соборная площадь, а по ней быстро шла наперерез нам, от церкви на Московскую улицу, стройная девушка в коротенькой черной шубке с барашковым воротником, на котором лежала роскошная коса. Из-под каракулевой шапочки весело взглянули большие серые глаза на подбежавшую к ней с лаской мохнатую собаку. Прекрасный цвет лица, легкие энергичные движения обратили внимание Казанцева. Он толкнул меня локтем и сказал:

— Славная барышня!.. Только степь таких родит! Сила и радость! Вся розовая!..

Я взглянул еще раз на нее, уже переходившую Московскую улицу, потом на Соборную площадь и ничего не ответил: Казанцев на миг мне показался Мещерским, Соборная площадь — Театральной...

«РЕКВИЕМ»

Служу в Воронеже. Прекрасный летний театр, прекрасная труппа. Особый успех имеют Далматов и инженю М. И. Свободина-Барышева. Она, разойдясь со своим мужем, известным актером Свободиным-Козиенко, здесь сошлась с Далматовым.

Это была чудная пара, на которую можно было любоваться. Их особенно принимала избалованная воронежская публика, а сборов все-таки не было. Чтобы заинтересовать здешнюю публику, перевидавшую всех знаменитостей-гастролеров, нужны были или уж очень крупные имена или какие-нибудь фортели, на что великие мастера были два воронежских зимних антрепренера — Воронков и Матковский, по нескольку лет один за другим державшие здесь театр.

Они умели приглашать по вкусу публики гастролеров и соглашались на выдумки актеров, разрешая им разные вольности в свои бенефисы и отговариваясь в случае неудачи тем, что за свой бенефис отвечает актер.

Года за три до нас одна из неважных актрис, Любская, в свой бенефис поставила «Гамлета», сама его играла и собрала полный сбор с публики, пришедшей посмотреть женщину — Гамлета и проводившей ее свистками и шиканьем. Любская была очень красива и развязна, доходя иногда до нецензурных ругательств и кафешантанных вольностей на сцене.

Далматов влюбился в Любскую, они торжественно обвенчались (В. Н. Давыдов посаженным отцом был), но через год разошлись.

* * *

После «Гамлета» Любской огромный сбор был в бенефис никудышного актера Тамары, афериста и пройдохи, имевшего наглость выступить тоже в роли Гамлета.

Надо сказать, что в эти годы огромным успехом пользовалась в провинции прекрасная опереточная актриса, бывшая артистка Малого театра Ц. А. Райчева. Гастролировала она и в Воронеже в «Птичках певчих» и «Елене Прекрасной».

В этот сезон она служила в Ростове на Дону, и об ее успехах писали обе воронежские газеты — «Телеграф» и «Дон», которые вообще отводили много места театру, перепечатывая известия из других газет, благо материал вполне цензурный, весьма читабельный, а главное — бесплатный.

Выходит огромная афиша об участии Райчевой в бенефис актера Тамары.

Ставили «Гамлета». В списке исполнителей ролей ее нет: королева — Микульская, Офелия — Бороздина.

— При чем же тут Райчева? — недоумевает публика.

А Тамара, бенефициант, во фраке, на лучшем извозчике, носится по домам меценатов, «делает визиты» по магазинам, трактирам, клубам и всучивает билеты, отвечая на все вопросы только одним:

— Приходите, увидите! Если не будет Райчевой — деньги обратно!

В день бенефиса Тамара едет утром на вокзал, встречает Райчеву, везет ее в лучшую гостиницу по людным улицам. Артистку узнают, видят, говорят о ней, около театральной кассы толпится народ. К вечеру аншлаг.

При первом выходе бенефицианта встречают аплодисментами и провожают полным молчанием после каждого акта и лучших монологов Гамлета. Тепло встретили Офелию, красавицу Софью Григорьевну Бороздину, дочь известного артиста и антрепренера Григорьева. Она только одна пока удостоилась аплодисментов и бисировала песнь Офелии.

Идут в молчании акт за актом. Думали сперва, что или Офелию или королеву будет играть Райчева,— но и в королеве появилась Микульская. Где же Райчева?

Стали заглядывать во время антрактов в кассу, как бы кассир не сбежал, но нет, он продает билеты на будущие спектакли. Большинство уже уверено, что смотрят спектакль даром: деньги обратно собираются требовать. Пятый акт. Публика еще в антракте заняла места. Могильщики — старики и молодой парень — копают могилу. Приходят Гамлет и Горацио. Сцена с черепом. Наконец, хоронят Офелию. Все расходятся. Могильщики начинают закапывать могилу.

— До ночи не закопаешь. Оголодал, есть хочется. Внучка надула, обещала обед принести!

— Хорошо бы поесть... Да вот и она с горки спускается, слышь, поет.

Через минуту появляется Райчева в блестящем костюме Периколы, с большой корзиной, покрытой салфеткой.

— Дедушка, вот я обед принесла!
— Ну, спасибо, внучка. Ставь сюда!
Публика бешено аплодирует.
— Браво, Райчева! Райчева!
Она открыла корзину и разобрала еду.
— Кушайте!
Публика замерла. Ждет.
— Ну, внучка, мы будем есть, а ты нас потешь, спой что-нибудь веселенькое.

— Что бы вам спеть?

— А что обещала. Уж сама знаешь!

В оркестре звуки арии из оперетты. Райчева выходит на авансцену и поет письмо Периколы...

Публика требует бис...

После второго раза Райчева уходит за кулисы, но на дальнейшие вызовы публики ее выводит на сцену сам Гамлет...

* * *

Вот к такой-то публике и приехала наша труппа. Серьезного репертуара, хорошей постановки мало было: надо гастролеров из столицы.

Казанцев съездил в Москву и привез известие, что через три дня приедут М. Н. Ермолова и О. А. Правдин. В местных газетах появились заметки. Накануне, во время спектакля, нам было заявлено, что в десять утра они приедут, а в одиннадцать — репетиция. Предложено было желающим встретить Ермолову. В первую голову, как помощнику режиссера, конечно, мне надо быть, по обязанности, и уж как я стремился увидеть ее! Ночью не спалось, заснул при солнце, но был разбужен в семь часов прислугой.

— Пожар, ваши уж проехали к реке...

В Воронеже этим летом образовалась вольная пожарная дружина, куда я тотчас по приезде записался топорником, не отказываясь работать и в городской команде.

На окраинах горели два деревянных дома. Пожар опасный: кругом близко стройка, и ветер сильный. Когда опасность миновала, я посмотрел на часы — половина одиннадцатого: значит, на вокзал опоздал, встречу на сцене. Примчался на извозчике, вбежал в заднюю дверь, выходящую в сад, прямо на сцену, чтобы почиститься и умыться до начала репетиции, и — о ужас! — на сцене народ.

Первое, что я увидел среди кучки артистов,— это суфлера Модестова, влезавшего в будку, а около будки стоят Свободина, Далматов, Казанцев и еще кое-кто из артистов. Посреди них небольшой человечек в полосатой синей паре и панаме — Правдин, а рядом М. Н. Ермолова, свежая, розовая от легкого загара, в сером дорожном платье и простой кругленькой соломенной шляпе с черной лентой. Она разговаривала со Свободиной, которая была немного выше ее,— и я сразу вспомнил: и Артистический кружок, и Театральную площадь, и Мещерского, и совсем забыл, что я не умылся.

При первых моих шагах раздался хохот и возгласы, послышалось слово «пожарный». Все-таки я подошел, сорвал с головы фуражку, извинился за опоздание. Смех в ответ на мой поклон. А Казанцев обращается ко мне со словами из «Птичек певчих»:

— «Панателла, подите и умойте вашу физиономию!» А потом я вас познакомлю с Марией Николаевной и Осипом Андреевичем.

Свободина подставляет мне к лицу зеркальце:

— Посмотритесь!

Взглянул — весь в саже.

Я бросился, как безумный, назад, перепрыгнул через забор в сад моей квартиры и через десять минут извинялся с трепетом сердца перед М. Н. Ермоловой.

Она меня встретила прекрасно. Оказалось, что этому предшествовал неожиданный разговор на вокзале.

Когда группа актеров окружила на платформе М. Н. Ермолову, пока пассажиры торопились в буфет пить кофе (тогда еще вагонов-ресторанов не было), а аккуратный Правдин сам побежал наблюдать за выгрузкой багажа, к Далматову подошел небольшого роста офицер. На белом кителе выделялся красный темляк на кавказской шашке «за храбрость».

— Мы немного знакомы... Тоже на вокзале. Помните, вы провожали с моим эшелоном на войну Гиляровского. Моя фамилия Прутников.

Далматов обрадовался, обнял его, представил товарищам и сказал:

— Гиляровский служит у нас, он сейчас должен приехать сюда... Поезд простоит долго. Да вы останьтесь у нас на денек-другой.

— Не могу, больную жену в Ессентуки везу.

Долго отвечал он на расспросы Далматова — все со вниманием слушали боевые воспоминания моего однополчанина.

Поезд ушел. Так мой друг меня и не видел, но его встреча с актерами сыграла свою роль: М. Н. Ермолова, наверное, никакого внимания не обратила бы на маленького актера Соллогуба, если бы не эти рассказы на вокзале.

* * *

Как-то, после одной из первых репетиций, устроили общий завтрак в саду, которым мы чествовали московских гостей и на котором присутствовал завсегдатай театра, местный адвокат, не раз удачно выступавший в столичных судах, большой поклонник Малого театра и член Московского артистического кружка. Его речь имела за столом огромный успех.

Он начал так:

Высоко передо мною
Славный Киев над Днепром,

Днепр сверкает под горою
Переливным серебром.

Это стихотворение, в котором дальше поэт спрашивает:

Вы откуда собрались,
Богомольцы, на поклон? —

относилось также и к Воронежу, переполненному в летнее время тысячами богомольцев, шедших «от московских чудотворцев к киевским», а из Киева в Москву. Воронеж на этом пути никак миновать нельзя.

— Но,— продолжал оратор-адвокат,— Воронеж богаче Киева и интереснее в другом отношении: он стоит на перепутье, на линии железной дороги, соединяющей обе столицы с Кавказом и рядом южных городов, и все наши знаменитые артисты в своих поездках никогда не минуют перепутья... Кого-кого мы не видали из них! Служить в наш город, благодаря удобству сообщения, едут охотно со всех концов нашей необъятной шестой части света. Вот и сейчас в нашей скромной компании можно продолжать стихотворение со строки «вы откуда собрались» и так далее, и каждый из вас скажет: «Да, я оттуда».

С поднятым бокалом оратор первым делом обратился к Н. Н. Синельникову, донскому казаку:

Я оттуда, где струится
Тихий Дон, краса степей.

И сразу повертывается лицом к сидящему с ним рядом Казанцеву:

Я оттуда, где клубится
Беспредельный Енисей...

Казанцев встает, чокается и вскользь, чтоб не прервать речи, бросает:

— Иннокентием зовут, значит — сибиряк.

Край мой теплый брег Эвксина...

И не успел чтец еще взглянуть на Далматова, как последний встал, и их бокалы встретились:

Край мой — брег тех дальних стран,
Где одна сплошная льдина
Оковала океан...

И что-то ищет, но его выручает Вязовский, указывая на меня:

— Соллогуб оттуда.

Чтобы не помешать, я принял привет и отвечал:

Я от Камы многоводной...

Барон Адеркас, сын сенатора, между прочим, прекрасно игравший лакеев, отвечает поклоном на строчку:

Я от царственной Невы...

Адвокат чокается с привставшим заранее О. А. Правдиным, приятелем оратора:

Я от Ладоги холодной...

Подняв голову и закинув седую гриву волос, красиво перегнувшись через стол, он обращается к М. Н. Ермоловой:

Я от матушки Москвы...

И закончил стихотворение... Да если бы и не закончил, то продолжать было нельзя — аплодисменты, чоканье... все встали и с бокалами спешат к раскрасневшейся от волнения Ермоловой.

* * *

М. Н. Ермолова дружила только с М. И. Свободиной, которая изредка по субботам в свободные дни бывала у нее. Иногда, кроме нее, бывали Далматов и я. Иногда заходил Казанцев, человек образованный, передовой, из тех, которых жандарм Слезкин называл «с душком».

Правдин жил где-то на окраине, у знакомого немца, и его видели мы только на спектаклях и репетициях. Экономный человек, он избегал наших завтраков и ужинов.

На этих наших вечеринках вчетвером, наговорившись о театре, мы переходили на стихи, и я делался как-то центром беседы среди этих знаменитостей.

Далматов обыкновенно рассказывал что-нибудь обо мне из того немногого, что он знал, а потом и я разбалтывался — конечно, очень скромно, вечно памятуя лозунг жизни:

— Язык твой — враг твой, прежде ума твоего рыщет!

М. Н. Ермолову больше всего интересовала жизнь бурлаков и работа на белильном заводе, Далматова — картинки войны и кавказские приключения, Свободину — поэзия.

Как-то М. Н. Ермолова попросила меня прочитать мое стихотворение «Бурлаки». Потом сама прочитала после моих рассказов о войне некрасовское «Внимая ужасам войны», а Свободина прочла свое любимое стихотворение, которое всегда читала в дивертисментах:

Скажи мне, ты любил на родине своей?..

И, положив свою руку на мою, пытливо посмотрела на меня своими прекрасными темнокарими глазами:

— Обращаю к вам вопросом первую строчку стихов: «Скажи мне, ты любил на родине своей?..» В самом деле, вы поэт, значит, любили?

— Какой я поэт! У меня только два стишка: этот да «Кузьма Орел», и несколько шуток.

— Ну, есть же стихи о любви?

Я расхохотался.

— Никогда этого слова я не писал.

— А вот когда напишете это слово кому-нибудь в стихах, тогда ваша поэзия начнется... настоящим поэтом будете...

— Но разве мало прекрасных стихов без объяснений в любви? А гражданские мотивы? Томас Гуд, Некрасов? Сколько поэтов!.. Песни о труде, о поруганной личности, наконец, бурные призывы, как у Лопе де Вега и у нашего

М. И. Свободина-Барышева

московского поэта Пальмина, ни разу не упомянувшего слова «любовь».

— Так-то так, а все-таки моему сердцу ближе эти строки.— И Свободина опять обратилась ко мне:

Скажи мне, ты любил на родине своей?

— Нет, не любил нигде. Пробовал, да не вышло. Перед войной познакомился в Саратове с одной маленькой актрисой, Гаевской... Как рыцарь средних веков, сделал ее дамой сердца. Переписывались мы с ней с войны. В дни, когда получалась в отрядной канцелярии почта, бегал за письмом для близости расстояния чуть ли не через цепь турецкую, обрываясь в колючках и рискуя попасть под пулю. Кстати, она позапрошлую зиму служила здесь, в Воронеже, у Матковского... Когда кончилась война, я поехал домой морем на Таганрог и далее... С нетерпением ждал Воронежа... С вокзала бегу на репетицию в театр. Ее вызывают. Выходит знакомая худенькая фигурка, конфузливо подходит. Посмотрели мы друг на друга, разговор как-то не клеится... Нас выручил окрик со сцены, позвавший ее... Пожал я ей руку — не поцеловал, нет, да я вообще никогда еще, кроме матери и мачехи, ни у кого руки не целовал,— и уехал. Это было в прошлом году здесь. И переписка прекратилась.

Свободина взяла мою записную книжку, которая лежала на столе передо мной, и что-то написала.

— Вот вам на память.

Не понят ты людьми в халате драном,
Поймут тебя они в кафтане златотканном...

И подпись: Мария Свободина.

Я прочел и пододвинул книжку М. Н. Ермоловой. Она тоже взяла карандаш, и я прочел:

Вперед, без страха и сомненья,
На подвиг доблестный...

К. В. Гаевская

В тот же вечер М. Н. Ермолова дала мне свою фотографию с надписью: «Владимиру Гиляровскому — Мария Ермолова. Воронеж».

Книжка с дорогими автографами, вся истрепанная, полуразорванная, у меня еще цела.

Для меня М. Н. Ермолова была недосягаемое светило, мой кумир, каким она была для всей публики, а особенно для учащейся молодежи. Свободина была любящей и любимой женой моего друга Далматова. Ни на один миг ни та, ни другая не внушали мне и мысли, что они красавицы-женщины.

* * *

Не понят ты людьми в халате драном,
Поймут они тебя в кафтане златотканном...

— Вас не удовлетворит сцена, вы будете писателем! Столько видеть и не писать — нельзя,— как-то после моих рассказов сказала мне М. Н. Ермолова.

Впоследствии я не раз задумывался над этими словами.

— Вы поэт и будете поэтом, когда у вас напишется то слово! Помните Майкова: «Скажи мне, ты любил на родине своей?» — повторяла Свободина.

И ободряюще светила строчка: «Вперед, без страха и сомненья, на подвиг доблестный...» Но в суете жизни это опять проходило и забывалось. Я жил данным моментом: театром в Воронеже.

Как-то около полудня я возвращался с небольшого пожара на окраине, шел глухой уличкой, окруженной маленькими домиками, и увидал на скамеечке перед воротами пожилую женщину, перед которой стояли две богомолки в лаптях с сумками за плечами. Рядом с ней сидела Свободина, которая меня окликнула и познакомила с женщиной.

— Анфиса Егоровна, подруга моей мамы.

— Очень рада... Я вас видела у Марии Николаевны.

— Да что здесь жариться, заходите, пожалуйста, в хатку, чай на столе.

Я было, из вежливости, против своего желания, стал отказываться, но Свободина взяла меня под руку и повела.

* * *

В маленьком зальце с голубыми обоями и простеночным зеркалом стояли три круглые подушки для плетения кружев. За двумя сидели две хорошенькие блондинки тоже в голубых, как и обои, ситцевых платьицах и постукивали чуть слышно коклюшками, выводя узоры кружева.

— А вот мои крестницы, Маня и Оля, племянницы Анфисы Егоровны. А вот и мама их, Анна Егоровна.

Та поставила самовар и мигнула дочкам. Они исчезли и через минуту внесли два блюда, на каждом по пирогу — оба круглые, в решетку: один с рисом и цыплятами, а другой с черешнями. А вслед за сестрицами вошла М. Н. Ермолова в светленьком платьице и в той самой шляпке, в которой играла учительницу в модной тогда пьесе «На пороге к делу».

Она удивленно посмотрела на меня, подавая мне руку, а Свободина сказала:

— Мы о нем много секретов знаем, пусть же и он знает наш секрет.

Выяснилось, что по воскресеньям обе они едят здесь пироги и беседуют с богомолками.

— Изучаем типы,— сказала Свободина, и М. Н. Ермолова добавила:

— Знакомимся с ужасом женской доли. Мне только здесь стали воочию понятны Некрасов и Писемский... Представьте себе, вот сейчас в садике сидит красавица-женщина, целиком из «Горькой судьбины»: муж из ревности убил у нее младенца и сам повесился в тюрьме. Вот она и размыкивает горе: третий год ходит по богомольям.

В садике пять богомолок пили чай с булками.

— Вот эта,— шепнула мне М. Н. Ермолова, указывая на исхудавшую, действительно с красивыми чертами лица, почерневшую от загара женщину.— Вы посмотрите,— не глядя на нее, говорит мне Мария Николаевна, изучившая ее до точности,— посмотрите на это молодое, красивое лицо скорее цыганское, чем ярославское, она из-под Ярославля. Эти две глубокие, между бровями, морщины неотвязной думы, эта безнадежность взгляда... Это не тоска, не грусть... это трагедия... Это не лицо — маска трагедии... Если б вы слышали, как она подробно рассказывала пережитые картины ужаса и свой грех, в котором она и виновата не была, но который ее мучит. Она чувствовала, что я понимаю ее, и выливала передо мною все, что терзало ее душу, все, что она не могла рассказать кому-нибудь дома, даже своему попу, потому что встречается с ним у своих в селе... И ни одной слезы, которая бы смыла весь этот ужас.

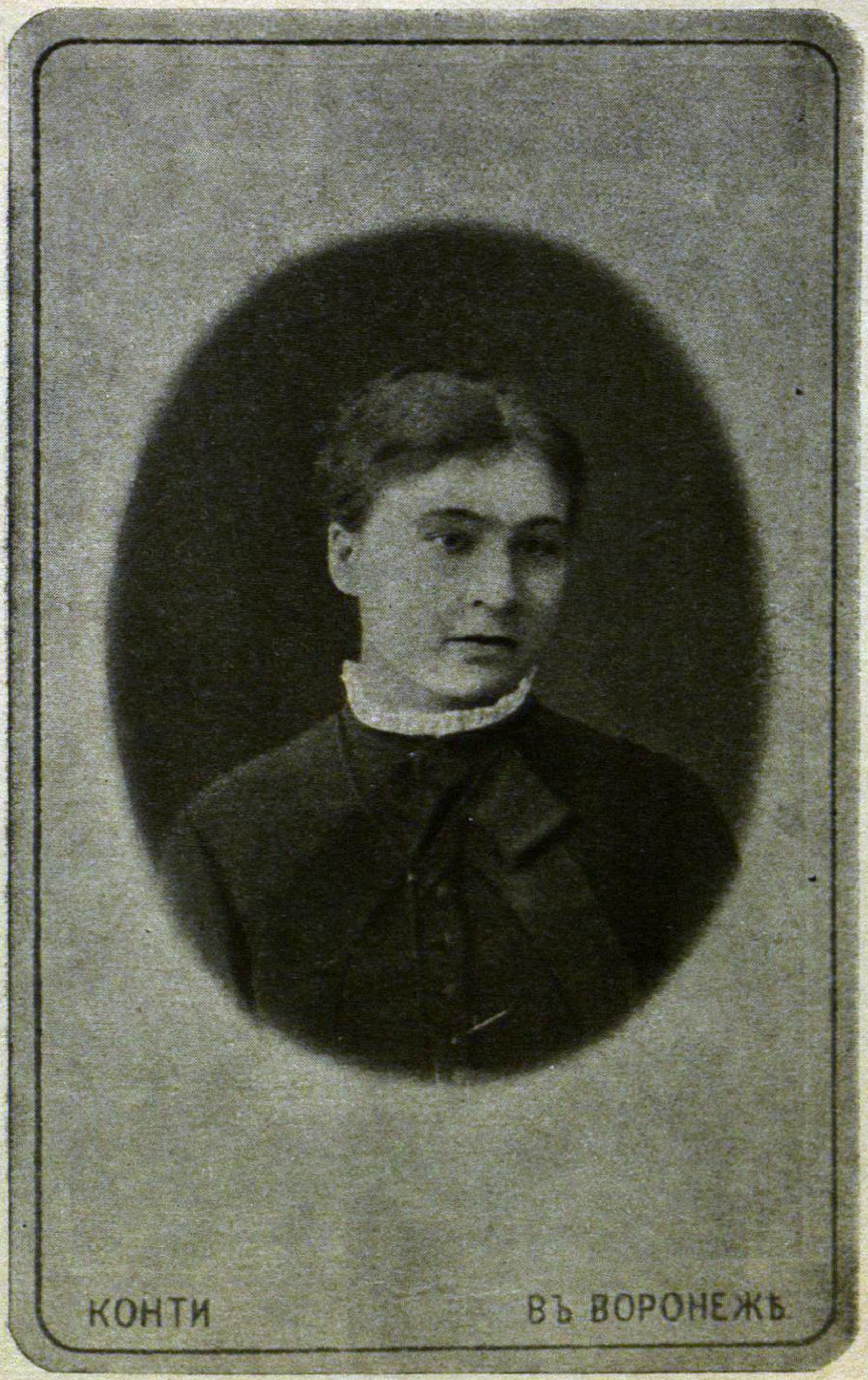
— И вот иду... иду... за народом иду... У Троицы была... в Москве... в Киеве... Исповедаешься — полегчает... Богомолки есть горе-горькие... Свое горе передо мной выплачет, а я ей свое,— опять полегчает... Ежели бы не пошла — руки на себя наложила бы... Жить не для кого... И вот иду... иду... за народом иду... Куда народ, туда и я... люди хоть плачут, а у меня ни слезинки. Одна тягота...

Так запомнила М. Н. Ермолова каждое слово богомолки.

* * *

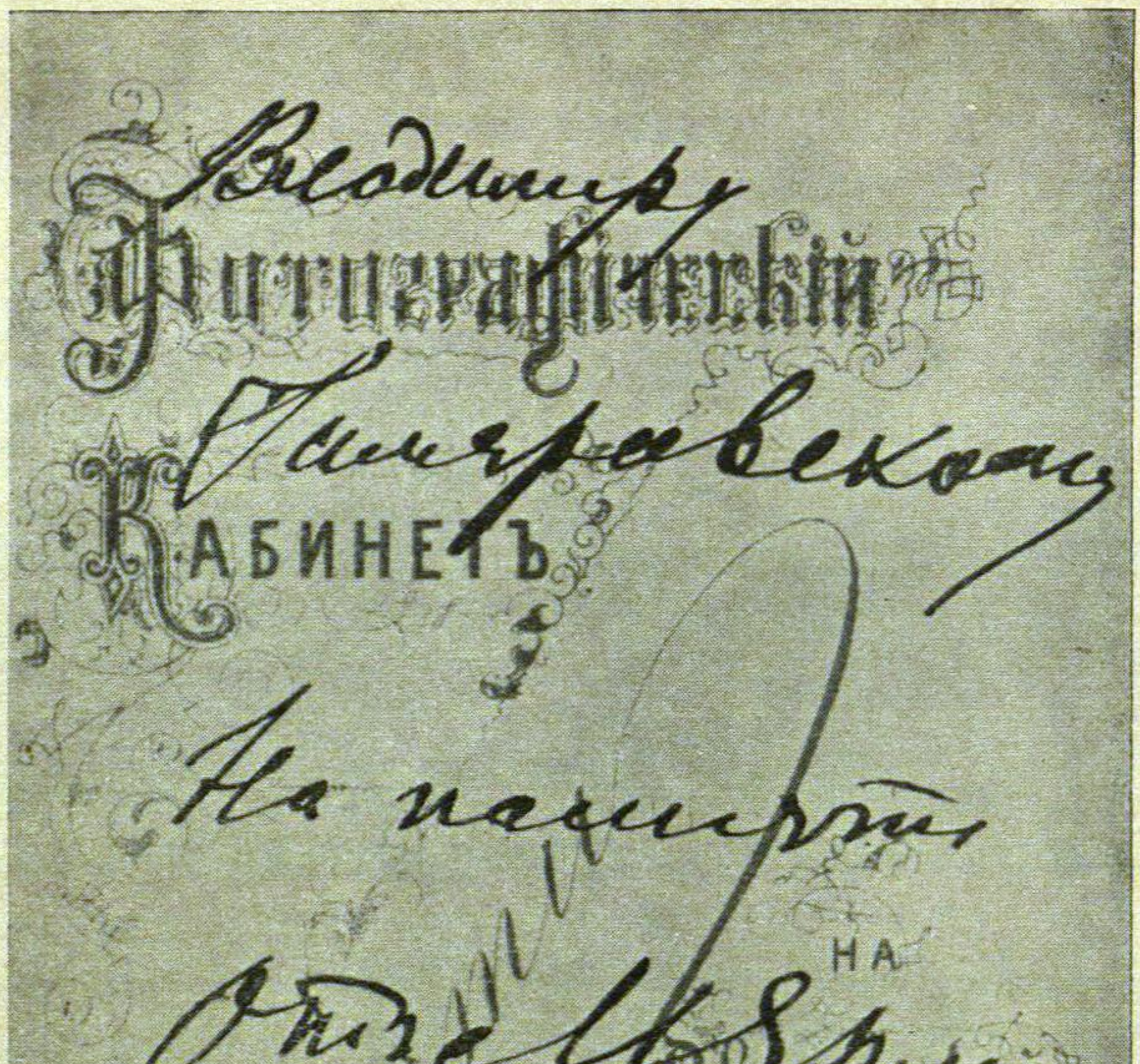
Ермолова и Свободина остались в садике, а я ушел домой. До сих пор жалею, что мне не удалось повидать «Горькую судьбину» в Малом театре.

Гастроли М. Н. Ермоловой прошли при полных сборах почти во всех ее спектаклях. Правдин, недурной актер, имел тоже успех. В его бенефис в зале были приставные стулья. Спектакль был обставлен прекрасно. Шла драма



М. Н. Ермолова

Сталинградская
областная
библиотека
им. М. Горького



Автограф М. Н. Ермоловой на обороте фотографии

Аверкиева «Каширская старина». Марьица — М. Н. Ермолова, Василий — Далматов, Коркин — Казанцев, оба — любимцы публики, Живуля — Правдин. Но этот спектакль не гремел такими неудержно бурными овациями, как бенефис М. Н. Ермоловой и некоторые спектакли с ее участием, в которых ставились так называемые идейные пьесы, вроде «Овечьего источника».

Комедия «На пороге к делу», которая шла с М. Н. Ермоловой в Малом театре, сделала в первые дни приезда гастролеров огромный сбор и привлекла совершенно особую публику.

— Ермоловская публика,— сказал Казанцев.

Он понимал, какие пьесы надо ставить для этой публики. Если приходилось давать что-нибудь вроде «Каширской старины», то он вместо водевиля объявлял дивертисмент, где М. Н. Ермолова читала стихи, те самые, которые в Москве стояли поперек горла жандармской власти. И всегда такой дивертисмент привлекал «ермоловскую» публику. Тогда галерка, балкон и последние места партера были полны, и вызовы при громоподобных овациях были бесконечны.

В антрактах эта публика не осаждала буфет, а гуляла группами в глухих аллеях сада. Некоторые громко обсуждали игру артистов, спорили. Другие были не так шумны, но все же оживлены, держались свободно и вместе с тем скромно, даже серьезно. Зато гудели они в театре и после окончания акта вызывали по нескольку раз своих любимцев, а главное — Ермолову.

Большую аллею и площадку с фонтаном перед театром, где была эстрада для музыкантов, заполняла щегольская публика лож и партера: модные туалеты дам, визитки молодых франтов да чесучовые широкие пиджаки и дорогие панамы богатых помещиков, приезжавших на спектакли Ермоловой из своих имений.

А в дальних аллеях учащаяся молодежь, сельские учителя в широкополых шляпах, иногда в черных, иногда местной работы из простой соломы — брылях. Большинство в очках, иногда синих; многие в поддевках, красных рубахах и яловых сапогах. Среди учительниц и их столичных подруг, приехавших на лето, были некоторые с короткими волосами, некоторые в очках, и все в маленьких простых соломенных шляпах, точь в точь как та, в которой М. Н. Ермолова играла учительницу.

Вся эта публика — и молодежь и пожилые, бородатые и волосатые — были люди с чрезвычайно серьезными лицами, будто они пришли не в летний театр развлекаться и веселиться, как публика у фонтана, а явились по крайней мере в университет слушать любимого профессора.

Из всей труппы только у Казанцева были знакомые среди этой публики; они молчаливо и любезно раскланивались.

Семнадцатого июня 1879 года в бенефис М. Н. Ермоловой шел «Сверчок».

Весь Воронеж чествовал любимую актрису, и вся «ермоловская» публика была налицо со своими двумя басами, не пропустившими ни одного ее спектакля. При вызовах бенефициантки они гремели, как никогда. Один бас — хоть сейчас Руслана пой, а другой — неслыханная мною ни до, ни после октавища. Он гудел, будто откуда-то из-под земли, из склепа, из пропасти. Слышны были только: мо-о-ол-ва-а-а!.. Треск аплодисментов, стук в пол палками, зонтами и ногами — все покрывалось этими двумя чудовищными басами. Публика и мы, актеры, привыкли к ним и не интересовались ими. Говорили, что это два богослова-семинариста, будущие протодьяконы. Но на этот раз на них было обращено внимание одним человеком, и я заметил это со своего наблюдательного поста, из дырочки в правой кулисе, откуда я рассматривал, при опущенном занавесе, публику в зале.

В этот вечер в первый раз в угловом кресле первого ряда я увидел местного жандармского полковника и рядом с ним полицмейстера. Обыкновенно на этих казенных местах сидели разодетые дамы, их жены может быть, а мужья, страстные картежники, предпочитали клуб.

Театр неистово вызывал бенефициантку. Первый ряд, подняв высоко руки, стоя аплодировал перед занавесом. Только два человека в белых кителях, став лицом к публике, поворачивали голову то вправо, где гудел один бас, то влево, откуда, как из пропасти, бучало: во...а...а...ва... а!..— бучало и заливало все. Повидимому, высокого, с английским пробором на затылке, жандармского полковника заинтересовали эти басы, а полицмейстер что-то отвечал на вопросы жандарма, потом качнул головой: «слушаю, мол», и начал проталкиваться на своих коротеньких ножках к выходу. В это время подняли занавес, и вышла на вызовы Ермолова. Жандарм, сверкая бриллиантом на мизинце холеной руки, начал как-то наискось хлопать ладонь о ладонь, но «на челе его высоком не отразилось ничего».

М. Н. Ермолову вызывали, подносили подарки, букеты, венки, с галерки сыпались пучки полевых цветов... басы гудели.

* * *

В числе наших меценатов был богатый человек, живший широко. Звали его Николай Васильевич, а фамилию его так и не знали. Я встретил его потом в Москве уже во время германской войны. Он обеднел и держал маленькую табачную лавочку с вывеской: Н. В. Васильев. А тогда он «шуровал» во-всю, закатывал актерам пикники, ужины и постоянно бывал за кулисами, причем ни за одной актрисой никогда не ухаживал.

В бенефис М. Н. Ермоловой он прислал свою коляску, чтоб отвезти ее из театра домой. Ермолова по окончании

спектакля вышла из театра, сопровождаемая всей труппой, и прошла по саду под приветствия шпалерами стоявшей публики. По выходе на улицу она была встречена новым громом аплодисментов. Коляска, убранная цветами, стояла без лошадей, вместо которых впряглась учащаяся молодежь обоего пола, во главе с двумя тигантами в камлотовых, может быть, из старых родительских ряс, пиджаках, своими басами покрывавшими гудевшую улицу. Зажгли факелы. Полиция протестовала. Бенефициантку усадили, вместе с ее горничной с большим узлом, и при восторженных криках довезли до гостиницы.

* * *

М. Н. Ермолова чувствовала, что и здесь, в Воронеже, у нее есть своя публика, та самая, которая в Москве, на студенческих вечерах, создала ей первый успех, которая восславила ее в «Овечьем источнике». Это — та же учащаяся молодежь и радикально настроенная интеллигенция. Она удивлялась, что глухая провинция, Воронеж, моложе Москвы, и вдохновенно читала в дивертисментах то же, что читала на московских студенческих вечеринках. На афише помещалось: чтение из сборника «Живая струна», а читался и Плещеев, и Некрасов, и Пальмин...

Каждое ее выступление в дивертисментах — сплошная овация. С каким восторгом я всегда ее слушал! Такого чтения после Никитина я не слыхал никогда.

Как сейчас вижу перед собой лицо и глаза Ермоловой, Ермоловой того дня, того незабвенного вечера, когда, вскоре после бенефиса, прочла она «Песню о рубашке» Томаса Гуда, затем некрасовское «Внимая ужасам войны». Публика неистово требовала еще и еще... басы гудели. И еще прочла плещеевское «Вперед, без страха и сомненья...» Выходила на нескончаемые вызовы, показывала, что не в силах больше читать, и публика, видя ее усталую, а может быть, чувствуя, что сильнее, чем «Вперед», уже ни-

чего сказать нельзя, только благодарно и неистово приветствовала.

Но когда она, откланиваясь, отступила в глубь сцены, вдруг раздалось с галерки:

— «Реквием»!

И вслед за этим, как эхо, «Реквием» повторилось еще несколькими отдельными голосами в партере и, наконец, еще раз упрямо рявкнул бас сверху. И ответил театр общим ревом: бис... бис...

Как сейчас помню: Ермолова удивленно остановилась, благодарно взглянула, подняв голову к правому углу галерки, откуда гудел басище, расцвела как-то вся, засияла, подошла к рампе и поклонилась. Лицо стало серьезным. Театр замер.

И полились чарующие звуки. И зазвучал безотказный призыв, и чуялась в голосе сила неотразимая... Это не Ермолова, это Лауренция, призывающая к отмщению...

— Заиграло,— кивнул мне Казанцев головой, мигнув на зрительный зал, и выражение лица было точь в точь такое, какое я видел у него потом в пьесе Писемского «Самоуправцы», когда он, играя Девочкина, бросает это слово, сидя верхом на заборе и любуясь пламенем подожженного помещичьего дома.

Не плачьте над трупами павших борцов,
Погибших с оружьем в руках...
Не пойте над ними надгробных стихов,
Слезой не скверните их прах.
Не нужно ни гимнов, ни слез мертвецам,
Отдайте им лучший почет,
Шагайте без страха по мертвым телам,
Несите их знамя вперед...

Кованой сталью звенели и звали к бою огневые слова:

С врагом их под знаменем тех же идей
Ведите их в бой... до конца...

Секундная пауза. Вместо грозного призыва, восторженный взгляд и убедительный полушопот:

Нет почести выше, нет тризны святей
Для тени достойной борца.

Взрыв аплодисментов и приветствий слился в гул, заглушивший даже басы.

* * *

«Реквием» имеет свою историю. Автор его Лиодор Иванович Пальмин — поэт-сатирик, работавший у В. С. Курочкина в лучшее время «Искры», печатал в «Русской мысли», у Лаврова и Гольцева, под своей полной фамилией, стихи и переводы с польского и одновременно в «Московском листке» у Пастухова, под псевдонимом «Трефовый король» и «Марало Иерихонский», юмористические стихи. Писал он также в «Будильнике», «Свете и тени», «Стрекозе», «Осколках» — и везде был грозой цензоров. Как его ни ловили, он все-таки всучит такую закорюку, что цензору выговор влетит, а то и совсем в отставку. А раз закатил такую штуку, что когда указали цензуре на скрытый смысл ее, то цензурой же строжайше было запрещено упоминать... об этом...

В «Осколках» первого января 1883 года напечатано было новогоднее стихотворение, весь сюжет которого состоял в шуточной игре слов на цифрах 2 и 3, а канвой служили 1882 и 1883 годы. Глубина же злой шутки, о которой было запрещено упоминать, заключалась в том, что после Александра II вступил на престол Александр III.

Я не помню всего стихотворения, но у меня остался в памяти куплет, которым оно заканчивалось:

Кой чорт, что два сменило три?..
Пустою будет голова,
Когда она пуста внутри,
На ней хоть два,
На ней хоть три...

Когда потом Н. А. Лейкин, издатель «Осколков», укорял Пальмина за то, что он мог подвести журнал подобным стихотворением, то последний ответил: «Я был уверен, что ничего за это не будет, потому что, во-первых, отвечает цензор, который разрешает, а во-вторых, если уж такое несчастие и случилось бы, то ни Главное управление по делам печати, ни даже сам министр внутренних дел не осмелится привлечь цензора: это все равно, что признать, что царь — пустоголовый дурак». Таков был Пальмин.

В то время, когда я с ним подружился, это был невзрачный, небольшого роста человечек, в синих очках, с лицом, изъеденным оспой, и всегда «с акцизным акцентом» — очень любил водочку, и даже в кармане косушку носил, а когда ему на это укажут, отвечал:

— Сердце останавливается... Сделаешь глоточек — и опять застучит...

Пальмин знал только редакцию и трактир. В гости к знакомым не ходил и к себе никого не звал. Мне только посчастливилось у него частенько бывать. Мы жили целое лето на даче под Москвой, в Краскове, я на одном конце села, против церкви, а он на другом, рядом с трактиром. Иногда, когда он у меня засидится, подвыпьет (это бывало к полуночи), я шел его проводить, и он уж никогда не отпускал без рюмки водки или стакана пива.

Жена всегда ждала его и ругала, не стесняясь, при мне:

— Опять наклюкался!

А сама уже тащит на стол угощение и ставит три рюмки — сама любила выпить и очень любила угостить.

— Вы вот коклетку скушайте,— уговаривает меня.

— Сколько раз тебе говорю — не коклетку, а котлетку.

— Вот если бы я тебе из кота ее сжарила — тогда котлетка... А это, небось, говядина!..

И пойдет спор. Выпьем по две-три рюмки, я прощаюсь,— он увяжется провожать меня... Если дома не спят,— опять его приходится угощать и провожать.

И вот в этой обстановке Пальмин работал, иногда создавал чудные вещи. Его стихотворение «Реквием» было написано давно, долго ходило по рукам, а потом как-то проскочило в сборник-декламатор «Живая струна», но в числе нескольких стихотворений было запрещено для чтения на сцене. Его разрешили для чтения только во время турецкой войны, полагая, что шагать по мертвым телам и нести знамя вперед относится к победе над турками. А после войны опять запретили.

* * *

Уехала М. Н. Ермолова — сборы упали. Басы исчезли. Только бенефис Вязовского сделал сбор, да и то, думается, потому, что на этот спектакль приехала любимица воронежской публики Райчева, спевшая в дивертисменте несколько арий из опереток. Да еще явился на репетицию бенефиса человек небольшого роста, с красиво подстриженной русской бородкой. Он предложил спеть в дивертисменте «Баркароллу», принес с собой мандолину и тут же прорепетировал перед артистами. Его поставили на афишу: «Певец Петров исполнит «Баркароллу». Сбор был недурной, виднелся в последний раз кое-кто из «ермоловской» публики. Гремел при вызовах один бас. Петров имел успех и, спевши, исчез. Мы его больше не видели.

Потом приходил полицмейстер и справлялся, кто такой Петров, но ответа не получил: его не знал никто из нас, кроме Казанцева; но он уехал перед бенефисом Вязовского, передав театр нам, и мы доигрывали сезон довольно успешно сами.

* * *

В феврале 1886 года в Москве в колонном зале «Эрмитажа» праздновался юбилей известного литературного критика и переводчика С. А. Юрьева.

Глаголями стояли сверкающие серебром и цветами столы в окружении темной зелени лавров и пальм.

Я был командирован редакцией «Русских ведомостей», чтобы дать отчет о юбилее, и когда явился, то уже все сидели за столом. По правую сторону юбиляра сидела Г. Н. Федотова, по левую — М. Н. Ермолова.

Обед был сервирован на сто пятьдесят человек: здесь были все крупные представители тогдашней ученой, литературной и артистической Москвы.

Речи лились. То и дело один за другим мелькали поднимавшиеся ораторы: В. А. Гольцев, А. И. Чупров, Ф. Н. Плевако, А. Н. Веселовский, Г. А. Джаншиев, А. П. Ленский, А. И. Южин. Представители всех направлений чествовали «человека сороковых годов» — ученого, писателя, драматурга и искусствоведа. Либералы особенно подчеркивали его значение как переводчика Лопе де Вега, ораторы приветствовали и М. Н. Ермолову, чокались с ней, как с исполнительницей Лауренции на русской сцене. Юбилей этот был праздником для М. Н. Ермоловой, и Г. Н. Федотова, старейшая представительница Малого театра, стушевалась, хотя этого никто не подчеркивал, уж очень дипломатичны были наши ученые, но чувствовалось, что вторым лицом за Юрьевым здесь была Ермолова.

Закончились речи, задвигались стулья; из гостиной, убранной цветами, раздались звуки рояля, и все двинулись туда, к кофе и ликерам.

Я все время не спускал глаз с М. Н. Ермоловой, хотя загорожен был от нее спинами сидевших впереди, и встал в то время, когда поднялась она. Увидав меня, она заки-вала мне головой. Я подошел.

— Неужели вы узнали меня? Ведь я с бородой.

— Конечно, узнала,— у меня есть номера «Журнала» с вашим портретом, да потом, как же вас не узнать?!

Пока публика торопилась в гостиную, мы стояли у стола и разговаривали. Это была моя первая встреча с

Ермоловой после Воронежа, единственная явившаяся продолжением наших воронежских бесед. Никогда не забуду этого разговора во всех подробностях.

— Я все ждала от вас или речи или экспромта, как в Воронеже.

— В Воронеже — свои, товарищи, а здесь цвет Москвы.

— И вы не тот, что в Воронеже... Мне первый на вас указал Казанцев, потом Андреев-Бурлак рассказывал о своей поездке по Волге, о вас... Стихи ваши читаю в журналах. А когда прочла «Обреченных» в «Русских ведомостях», то самое, что вы мне рассказывали о работе на белильных заводах, и увидала вашу подпись...

Я стоял, молчал и был на седьмом небе...

— Помните Свободину? Ее предсказание сбылось... Знаю, что вы женаты.

Тут нас перебил Гольцев:

— А вас, Мария Николаевна, конечно, интервьюирует наш представитель прессы.

— Нет, Виктор Александрович, просто старину вспоминаем. Лет десять тому назад вместе в Воронеже служили и с тех пор не видались.

— Позвольте... позвольте...

Прислуга хлопотала, сдвигая столы. Из гостиной слышалось пение. Мы вошли туда в то время, когда дружными аплодисментами награждали молодую певицу Климентову. М. Н. Ермолову сейчас же окружили. Я отошел в сторону, но все-таки раза три, урывками, мне удалось поговорить с ней еще в тот день. Она восторгалась Воронежем:

— Какая там публика чуткая... Как далеко провинция опередила Москву... Меня особенно поразило: в дивертисменте меня заставили бисировать до устали. Прочла мое любимое: «Вперед, без страха и сомненья»...

— Это вы мне в книжку написали... храню...

— Ну, вот: прочла, вышла, раскланиваюсь и показываю руками, что устала, не могу больше... Публика поняла и не требует... Вдруг, я слышу, кто-то с галерки, сдерживая голос, убедительно басит: «Реквием»... Я взглянула наверх, а там молодежь: хлопает и кричит — и опять басовый полушопот покрывает голоса: «Реквием»... Потом еще три-четыре голоса: «Реквием»...

— Это я помню.

— Ну вот... Сама не знаю, как это вышло, но я прочла «Реквием».

Нас опять перебили — подошел седобородый и подслеповатый Юрьев под руку с Южиным.

Последний мой разговор в этот вечер был такой: я перехватил Марию Николаевну, когда она шла к чайному столу одна.

— Позвольте с вами попрощаться, Мария Николаевна, я побегу в редакцию, надо отчет писать.

— Ну, торопитесь... Только одна просьба — не пишите ничего, ничего не пишите в отчете обо мне. Искренняя просьба... Мне еще не могут простить Воронежа... Когда я приехала, все меня поздравляли с успехом, а Надежда Михайловна Медведева и говорит мне: «Ты, Машенька, там, болтают, будто запрещенные стихи читала».

* * *

Шли годы, десятки лет. Мы встречались с М. Н. Ермоловой на заседаниях Общества российской словесности, в этом маленьком круглом зале углового университетского здания у ворот. Встречались иногда на разных юбилеях, но продолжительных разговоров не было. А все-таки двумя-тремя словами перекинемся, и обязательно она упомянет о Воронеже. Только раз не вспомнили, и поэтому встреча эта памятна мне.

Умер поэт А. Н. Плещеев. Хоронить его привезли в Москву, в Новодевичий монастырь. Был холодный ветре-

ный день. Я приехал на вокзал к самому приходу поезда. Влетел на платформу, по обыкновению, в распахнутой шубе. Встречающих было много. Первая, кого я увидел, была М. Н. Ермолова. Она стояла в группе кутавшихся в шубы писателей и артистов. Я подошел к ней. Здороваюсь, а она в ответ:

— Да застегнитесь, пожалуйста, такой холодина, простудитесь.

— Благодарю вас, Мария Николаевна, я не простужусь,— ответил я.

— Он чугунный, ему ни черта не сделается! — заметил Южин.

— И чугун трескается,— сказала Мария Николаевна.

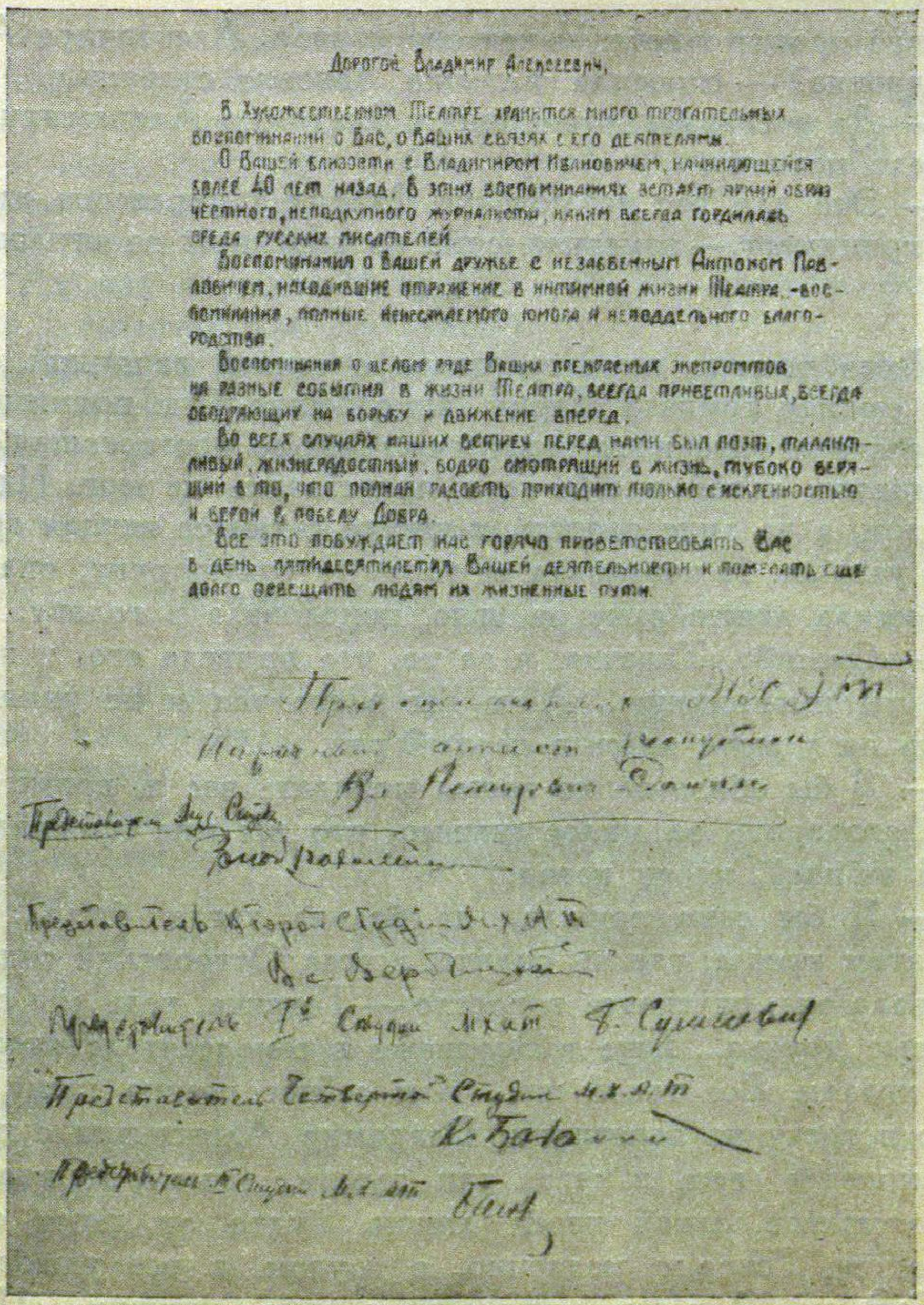
ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА

Я пришел на именины к Татьяне Львовне Щепкиной-Куперник. Она жила в квартире М. Н. Ермоловой, в ее доме на Тверском бульваре. Квартира в третьем этаже, вход из-под ворот, по скверной «черной» лестнице. Попадаю на кухню, называю фамилию и спрашиваю именинницу. Меня старушка Александра Александровна, друг Марии Николаевны, проводит закоулками в гостиную. Обстановка старинная. Чай по-именинному, вокруг самовара пироги домашние, ваза с фруктами.

За столом сидят дамы и Маргарита Николаевна, дочь Марии Николаевны. Именинница меня встречает. Только что я взял стакан с чаем, как Александра Александровна входит и говорит:

— Владимира Алексеевича просит Мария Николаевна к себе.

— Пойдемте, это уж особая честь, что Мария Нико-


Дорогой Владимир Алексеевич,

В Художественном Театре много трогательных воспоминаний о Вас, о Ваших связях с его деятелями.

О Вашей близости с Владимиром Ивановичем, начинающейся более 40 лет назад. В этих воспоминаниях остается яркий образ честного, неподкупного журналиста, каким всегда гордилась среда русских писателей.

Воспоминания о Вашей дружбе с незабвенным Антоном Павловичем, нашедшие отражение в интимной жизни Театра, - воспоминания, полные неиссякаемого юмора и неподдельного благородства.

Воспоминания о целом ряде Ваших превосходных экспромтов на разные события в жизни Театра, всегда приветливых, всегда ободряющих на борьбу и движение вперед.

Во всех случаях наших встреч перед нами был поэт, талантливый, жизнерадостный, бодро смотрящий в жизнь, глубоко верящий в то, что полная радость приходит только с искренностью и верой в победу Добра.

Все это побуждает нас горячо приветствовать Вас в день пятидесятилетия Вашей деятельности и пожелать еще долго освещать людям их жизненные пути.

Председатель Худ. Совета
Вл. Немирович-Данченко

Председатель Второго Совета МХАТ
А. Бакшеев

Председатель I-го Совета МХАТ К. Станиславский

Председатель Театрального Совета МХАТ
К. Тарасова

Председатель 2-го Совета МХАТ

Адрес МХАТ В. А. Гиляровскому в день пятидесятилетия его литературной деятельности

лаевна просит к себе. И как она узнала, Александра Александровна? — спросила Татьяна Львовна старушку.

— Да я сказала, что пришел Владимир Алексеевич, она велела позвать.

— Это для вас исключение. Мария Николаевна никого не принимает,— заметила одна из сидевших за столом.

* * *

Через темную комнату, дверь с теплой гардиной, а за ней уютная комната Марии Николаевны. Она поднимается с кресла и тихо идет навстречу. Сильно постаревшая, осунувшаяся, какой я себе ее и представить не мог. Идет с трудом, а на лице радость и вместе с тем ее вечная грустная улыбка. Я поцеловал ее горячую сухую руку, она мне положила левую руку на шею, поцеловала в голову.

— Спасибо, Танечка, и за то, что привела его, и за то, что ты именинница... А то бы я его так и не увидела... Ведь он у меня здесь в первый раз.

— Я бы обязательно зашел повидать вас и, кроме того, поблагодарить за милое письмо, что вы мне прислали на мой юбилей, месяц назад.

— Я бы сама пришла, да больна тогда была... Вот на этом кресле, где вы сидите, всегда Островский сидел,— сказала она, опускаясь в кресло.— Танечка, ведь мы с ним старые друзья... Еще в Воронеже в семьдесят девятом году играли. Все такой же... Как сейчас помню нашу первую встречу на репетиции: Владимир Алексеевич с пожара приехал, весь в саже, так дымом, дымом от него...— И помахала рукой перед лицом, будто от дыма отмахивается. Говорит медленно, с трудом, а все улыбается.

Татьяна Львовна показывает мою книжку «Петербург».

— Вот я от Владимира Алексеевича именинный подарок получила — поэму «Петербург».

— А мне?.. Что же мне?..— торопливо обратилась ко мне Мария Николаевна.

На счастье, был у меня в кармане номер журнала «Огонек» с моим портретом и биографией, написанной Ю. Соболевым к моему юбилею.

— А вот и вам, Мария Николаевна!

— Ах, как хорошо! И портрет... А ты, Танечка, потом приди и почитай мне его книжку.

Она взяла со стола открытку со своим портретом в роли «Перед зарей» и дала мне.

Между прочим, она посмеялась моему четверостишью новогоднему:

С тех пор, как грянула свобода,
Мне все на свете трын-трава,
Я правлю в год два новых года —
И два христова рождества.

— Уж очень это хорошо у вас: «Грянула свобода»... Именно она грянула. А ну-ка, еще прочтите.

Я повторил.

— Ну, еще раз.

Еще прочел. И она по-своему, по-ермоловски, прочла нам наизусть.

— Боюсь, что могу забыть. Напишите своей рукой на журнале.

Я прошу:

— А вы, Мария Николаевна, на своей карточке число проставьте.

Она подписала: «12 января 1924 года», под ранее написанным: «Вл. Ал. Гиляровскому на память о Воронеже».

— Ах, Воронеж, Воронеж... Какое время! Какие люди были!

Посидели еще, поговорили про старину, о Воронеже, о ее юбилее, о юбилее Юрьева. Прощаясь со мною, она встала, проводила, у самых дверей поцеловала меня в щеку и сказала:

— Ведь вот насмешил-таки меня, а я уж забыла, когда смеялась. Все тот же, все такой же, каким был!

Это были последние слова, которые я слышал от Марии Николаевны. Думаю, что я последний из людей, который видел ее улыбку и слышал искренний смех.

* * *

В огромной высокой церкви Большого Вознесения у Никитских ворот, на том самом месте, где сто лет назад под золотыми венцами стояли Александр Пушкин и Наталия Гончарова, высился весь в цветах, в венках белый гроб, окруженный беспрерывно входившими и выходившими москвичами всех званий и состояний, пришедшими поклониться останкам своей любимицы, великой артистки Марии Ермоловой.

Здесь собрались те, которые не имели возможности на следующий день присутствовать на торжественной гражданской панихиде в Малом театре. Церковь не вмещала всех желавших войти сразу, и народ толпился на улице, ожидая очереди, до тех пор, пока от церкви двинулась процессия к Малому театру. Мне удалось наблюдать это грандиозное, неожиданное в Москве зрелище со своего подъезда в Столешниковом переулке.

В полночь послышалась музыка. На Советской площади засверкали дымящиеся красными, прыгающими облаками факелы, замелькали по стенам красные блики, осветили высокий белый катафалк, белые попоны лошадей и тысячную толпу народа... Процессия спускалась сверху вниз по переулку. Красные отблески играли и на белом катафалке и на стенах домов. Багровый дым от факелов казался живым огненным потоком, чем ближе, тем грознее. Прекрасный оркестр играл что-то торжественное, при совершенном безмолвии переполнившего переулок народа. Музыка постепенно смолкала, факелы исчезали за поворо-

Дорогой Дорогой
Товарищ еще с
Вами Владимир
Алексеевич. Это был
очень давно, мы были
молоды, а теперь
старые, но все-таки
о Вас всегда как о
Вашем ученике
и обращаюсь. Я
к Вам с просьбой
Ваш добрый друг.
Ваши письма
очень хорошие
читала их. Хотелось
поговорить с Вами
и поздравить с Вами
с Днем

Письмо М. Н. Ермоловой В. А. Гиляровскому

Мой дом
на горе
Мой дом на горе
Окружен лесом
и степью и над горой
на небе звезды
Ночь! Тишь
уже все
спят
Только
я
не
сплю
Я
смотрю, и не могу
Свой
взгляд
оторвать
от
звезд
Я
думаю
о
своей
жизни
и
о
своей
судьбе

Не мог дорогой
Владимир Ильич
будь здоров и
счастлив!
Крепко жму Вашу
руку!

Ваш Емельянов

3 XII 23 г.

том на Петровку, а народ все еще шел, шел к Малому театру, окруженному толпами встречающих...

И первое, что мелькнуло тогда в моей памяти,— это солнечный мартовский день, снежное полотно, покрывшее за ночь площадь, фигура розовой под солнцем девушки, которая выпрыгнула из кареты и исчезла вот в этом самом подъезде... «Вся радостью сияет»... «Восходящая звезда»...

Это было так давно, когда я еще был беспаспортным бродягой, маленьким актером...

Бежали за годами годы... Клубились воспоминания...

Вспомнился вдруг чудесный серовский портрет Марии Николаевны, висевший в Литературно-художественном кружке. Только уже в другом, в новом.

Мария Николаевна редко там бывала. Разве только на юбилеях и чествованиях крупных лиц художественного мира. И вот на одном из таких юбилеев она остановилась перед портретом Репина, изображавшим Л. Н. Толстого на цветочном фоне, и сказала, что она недавно прочла «Хаджи Мурата», восторгалась им и что самое сильное впечатление произвела на нее первая страница повести, где автор описывает сломанный репей.

— Ведь репей был первый цветок, который я сама сорвала. Он вырос на погосте под нашим окном. Я вылезла из окна, в кровь исколола руки, а все-таки достала...

Погост. Театральная площадь. Погост...

Всю в цветах везли Марию Николаевну с Театральной площади на Владыкинский погост.

Биографы Марии Николаевны писали о ней, что она замкнутая и нелюдимая.

Но не всегда она была такой. В своей маленькой компании она была веселой и разговорчивой, любила слушать и говорить о театре, о литературе, о Москве и меньше всего о себе. Только раз, когда Далматов припомнил, что он познакомился с Шекспиром с десяти лет, она улыбнулась:

— А я с пяти!

И рассказала, как она нашла череп, как отец увидел это, вылез через окно и сказал, что это не игрушка и что надо положить его туда, где лежал, потому что «человек он был».

— Взял у меня его, вытянул перед собой руку с черепом, смотрит на него и каким-то не своим голосом сказал протяжно и жалостно: «Бедный Иорик!..» Потом зарыл его в землю, и больше разговоров об этом не было... Все так же я хожу с отцом в театр, сижу с ним в будке, любуюсь блеском декораций, сверкающими костюмами артистов, слушаю и не понимаю, а сама не только спросить, а пошевелиться боюсь, чтоб отцу не помешать. И вдруг знакомая декорация: кладбище. Ну, точь в точь наше: и могилки, и памятники. Старик могилу копает, песню поет и выкидывает с землей вместе череп, такой же старый, каким я тогда играла. А около могилы два человека в черном. Уж после я узнала, что это Гамлет и Горацио. А тогда ничего не понимала. Один из них наклоняется, поднимает череп, что-то говорит с могильщиком, становится, как тогда отец, и, так же выпрямив руку, качает головой, глядит на череп,— ну, словом, все, как отец делал, и тем же протяжно-жалостным голосом, ну, точь в точь как отец, говорит: «Бедный Иорик!..»

Г. АМЛЕТ

АКТЕР ВОЛЬСКИЙ

У былого с настоящим
Непрерывное слиянье...

Кто пишет о своем прошлом на девятом десятке бурно прожитых лет — тому это понятно.

Жаркий июльский день. Листок осины не шевельнется. Я сижу с тетрадкой и карандашом на моей любимой скамеечке в самом глухом углу «джунглей», над обрывом извилистого берега Москва-реки.

А подо мною речные извилины,
Каменный берег с грозящими кручами,
Гнездятся в зарослях совы да филины,
Дремлют в оврагах с норами барсучьими...

Восьмое лето я сижу здесь до самой глубокой осени, отдыхаю после шумной Москвы.

Какая тишина! Как будто жизнь забыта
В безлюдных дебрях, думы так легки...
Лишь под землею взрывы динамита:
То белый камень рвут под берегом реки...
Хованщина была здесь — и когда-то
Таились в зарослях раскольничьи скиты...

И теперь та же здесь глухмень, как и в те забытые времена.

Я еще не открывал тетрадки, не брал карандаша, образы и думы о прошлом так мелькают, что ни одну не поймаешь на этом чудном фоне ароматной зелени.

Кругом орешник пышно вьется
Непроницаемой стеной,
И стадо за рекой пасется,
Рожок пастуший трелью льется
И повторяется рекой...

Нарушил тишину Дружок. Он бешено промчался по лесу и бросился ко мне, в радостях, что отыскал меня. Удивительный пес — всех пород! Длинный, на коротких кривых ногах, как крокодил,— это значит, что среди предков была такса. Его толстый, поленом, но все-таки круто загнутый хвост указывает, что между предками водились и «надворные советники», а может быть, северные лайки. Морда огромная, зубастая — точь в точь волк. Своим неожиданным и громким появлением он разбил прекрасную тишину и перенес меня в действительность. Дружок улегся сзади меня и молотил хвостищем, выражая свою радость. Я обернулся, чтоб его погладить. Передо мной белеют на зеленом фоне «три сестры» — три стройные, еще не старые, выросшие из одного корня березы, которые я, в память Антоши Чехонте, назвал так три года назад.

Это уж реально и останавливает внимание... А тут еще Дружок: «помесь дворняжек с крокодилами», вспоминаются слова Чехова.

Но эти образы исчезли... Снова тишина... тишина... Только, пробившись сквозь столетние вершины дубов и кленов, солнечный луч

Заглянул полоской яркой
Под ореховые арки,
Где, темнея, зеленели
Их дремучие туннели...

Уснул Дружок. Еще метлешится кое-что в тумане памяти, но что — разобрать не могу... Если бы кто-нибудь

пришел и спросил, о чем я задумался, я, может быть, еще не упустил бы из внимания Чехова, вспомнил бы пустой какой-нибудь фактик, зацепился бы за него — и пошли бы, пошли воспоминания...

Пошевелился Дружок. Я оглянулся. Он поднял голову, насторожил ухо, глядит в туннель орешника, с лаем исчезает в кустах и ныряет сквозь загородку в стремнину оврага. Я спешу за ним, иду по густой траве, спотыкаюсь в ямку (в прошлом году осенью свиньи разрыли полянки в лесу) и чувствую жестокую боль в ступне правой ноги.

Хромая, возвращаюсь на скамеечку. Несмотря на боль, вспоминаю рассказ И. Ф. Горбунова о ямщике. «Кажинный раз на эфтом самом месте!» — оправдывался он, вывалив барина.

* * *

«Кажинный раз на эфтом самом месте!» Именно в ступне. Как чуть оступишься — болит. А последние три года старость сказалась — нога ноет, заменяя мне барометр: перед непогодой. Только три года, а ранее я не чувствовал никаких следов вывихов и переломов — все заросло, зажило, третий раз даже с разрывом сухожилий. Последнее было уже в этом столетии в Москве.

Боль была настолько сильна, что и прелесть окружающего перестала существовать для меня. А итти домой не могу — надо успокоиться. Шорох в овраге — и из-под самой кручи передо мной вынырнул Дружок, язык высунул, с него каплет: собака потеет языком. Он ткнулся в мою больную ногу и растянулся на траве. Боль напомнила мне первый вывих ровно шестьдесят лет назад в задонских степях, когда табунщик-калмык, с железными руками, приговаривал успокоительно:

— Ничего, бачка, в воскресенье гуляй.

Он ловко вправил мне свернутую в сторону ступню и только пожалел, что сапог пришлось разрезать.

В воскресенье, через три дня, я действительно гулял, а через неделю совершенно забыл о ноге и только вспомнил о ней года через два в Тамбове, и об этом тамбовском случае вспомнилось сейчас, когда я смотрел на Дружка и на «трех сестер».

* * *

Выплывают, кружатся и исчезают в памяти: Вася Григорьев, Чехов, записывающий «Каштанку» в свою записную книжку, мать Каштанки — Леберка, увеличившая в год моего поступления в театр пятью щенками собачье население Тамбова,— несуразная Леберка, всех пород сразу, один из потомков которой, увековеченный Чеховым, стал артистом и на арене цирка и на сценах ярмарочных и уездных театров.

Леберка жила в то время со своими щенками в том самом темном подвальном коридоре театра, на который выходили двери комнаток, где жил В. Т. Островский и останавливались проезжие и проходящие актеры и куда выходила и моя каютка с пустыми ящиками из-под вина,— моя постель в первые дни после приезда в Тамбов.

Леберка ютилась под лесенкой, откуда щенята расползались по коридору и взбирались на ступеньки. После спектакля, пробираясь ощупью домой, я отворил дверку в коридор и, уверенно ступая по знакомой лесенке из четырех ступеней, вдруг наступил на щенка. Визг. Испуганный лай Леберки и грохот моего падения произвели переполох. Островский, шатаясь, вышел на шум, а его поддерживал извозчик без шапки, с сальной свечкой в руке и кнутом за поясом халата.

Островский, на мое счастье, был в периоде своего загула, когда ему требовались слушатели, которым он читал стихи, монологи, рассказывал о своих успехах. Днем такие слушатели находились. Он угощал их в отдельных комнатках трактиров, но когда наступала ночь, нанимал

извозчика по часам, лошадь ставилась на театральном дворе под навесом, а владелец ее зарабатывал по сорок копеек в час, сидя до рассвета в комнатке Василия Трофимовича за водкой и закуской, причем сам хозяин закусывал только изюмом или клюквой.

Это были последние дни загула, и только благодаря этому мне во-время была подана помощь, а то нивесть сколько пролежал бы я, так как нога не позволяла мне двигаться. В комнатах коридора в это время, кроме меня и В. Т. Островского, никто не жил. Пришли из ресторана буфетчик Пустовалов, Сережа Евстигнеев и Ваня Семилетов, который сейчас же убежал и привел фельдшера из пожарной команды... Опять операция, напомнившая мне калмыка. Забинтовав ногу, меня уложили на мои ящики. Василий Трофимович отпустил извозчика и переселился с водкой и закуской ко мне. Я слышал сквозь сон пьяные монологи Велизария, Ричарда III и Жанны д'Арк, а потом крепко заснул и проснулся, когда уже светало, от холода.

В комнате я один, на столе пустая посуда, а из окна дует холодом и сыплет снег. Окно было разбито, стекла валялись на полу. Дворник стучал по раме, забивая окно доской. Оказалось, что свинья, случайно выпущенная из хлева извозчиком, выдавила боком мое окно.

Когда о происшествии узнал антрепренер Григорий Иванович Григорьев, он тотчас же спустился вниз и приказал Васе перевести меня в свою комнату, которая была вместе с библиотекой. Закулисный завсегдатай театра Эльснер, случайно узнав о моем падении, тотчас же привел полкового доктора, тоже страстного театрала, быстро уложившего ногу в лубок.

Я лежал и блаженствовал. Вася за мной ухаживал, как за братом, доставал мне книги из шкафа, и я читал запоем. Старик Григорьев заходил по два раза в день, его пятнадцатилетняя дочка, красавица Надя, приносила печенье и варенье к чаю, жена его Анна Николаевна — обед.

И все это благодаря Леберке и ее пострадавшему щенку, может быть, даже Каштанке. Из-за него меня Григорьев перевел в свою комнату-библиотеку, из-за него, наконец, я впервые познакомился с Шекспиром, из-за него я прочел массу книг, в том числе «Гамлета», и в бессонную ночь вообразил его по-своему, а через неделю увидел его на сцене, и какого Гамлета!.. Это было самое сильное впечатление первого года моего пребывания на сцене.

* * *

Побывали у меня все. Целый день народ. Столик перед кроватью был завален конфетами: подарки актрис — драматической Микульской, инженю Лебедевой, изящной Струковой и других.

В Струкову был, конечно, платонически и безнадежно, влюблен Вася, чего она не замечала. Уже десятки лет спустя я ее встретил в Москве, где она жила после смерти своего мужа Свободина (Козиенко), умершего на сцене Александринского театра в 1892 году. От него у нее был сын Миша Свободин, талантливый молодой поэт, московский студент, застрелившийся совершенно неожиданно для всех. Я его встречал по ночам в игорных залах Художественного кружка. Он втянулся в игру, и, как говорили, проигрыш был причиной его гибели.

А тогда Струкова была совсем молоденькой. Она только что начинала свою сценическую жизнь, и ее театральным обучением руководил Песоцкий, который в то время, когда я лежал, проходил с нею Офелию. Эта первая крупная роль удалась ей прекрасно.

Она сидела на моей кровати вместе с другими и все время, ни на кого не обращая внимания, мурлыкала чуть слышно арию Офелии. А Вася из уголка с дивана глядел на нее влюбленными глазами. Я только тут и узнал, что Вольский в свой бенефис ставит «Гамлета».

Я никогда не видал и не читал «Гамлета». Вася вынул из шкафа тоненькую, в потрепанном дешевом переплете печатную книжку, всю исчерканную, и дал только до утра — утром первая репетиция. Я прочел с восторгом, как говорится, взасос, ночью раза три зажигал свечку и перечитывал некоторые места.

С Васей вечером я не успел поговорить о «Гамлете», не знал, в каких костюмах играть его будут, в какой обстановке.

Еще в гимназии я много перечитал рыцарских романов, начиная с «Айвенго», интересовался скандинавами и нарисовал себе в этом духе и «Гамлета» и двор короля, полудикого морского разбойника, украшавшего свой дворец звериными шкурами и драгоценностями, награбленными во время набегов на богатые города Средиземного моря.

Я не обратил внимания на описание дуэли Гамлета с Лаэртом, а только уж ночью, еще раз перечитав дуэль, удивился, что они дерутся на рапирах, а не на мечах.

Долго об этом думал, вспомнил «Трех мушкетеров» и, рисуя себе великана Портоса, решил, что по руке ему рапира тяжелая, а не те мышеколки, на которых дерутся теперь на уроках фехтования. Значит, такая рапира будет и у Гамлета, ведь он просит себе рапиру потяжелее.

«Первый в Дании боец». Удалой морской разбойник, силач, хоть и учился за границей, а все такой же викинг, корсар... Так я решил.

* * *

Актер Ф. К. Вольский хоть и был ростом немного выше среднего, но вся его фигура, энергичная походка и каждое движение обнаруживали в нем большую силу и гимнастическую ловкость. Свежее строгое лицо с легким румянцем, выразительные серые глаза и переливной голос, то полный нежности, то неотразимо грозный, смотря по исполняемой роли.

Вольский получил высшее образование и пользовался, несмотря на свою молодость (ему было тридцать лет), полным уважением труппы. Он был прекрасным актером, и почему он не попал на императорскую сцену — непонятно. Его амплуа — первый любовник и герой.

Проснувшись на другой день около десяти утра, я издали увидел его в отворенную дверь и залюбовался им: «Да, это Гамлет... «Первый в Дании боец».

— Позволите? — обратился он ко мне.

— Милости просим, Федор Каллистратович!

— Я на одну минуту... за книгой, репетиция начинается.

— Как мне жаль, что я не увижу вас в Гамлете...

— Почему же? Мы вас перенесем в первую кулису... Увидите, увидите, я устрою. Я хочу, чтобы вы видели меня в моей любимой роли.— Взял книгу и своими неслышными шагами вышел, потом повернулся ко мне и, мило улыбаясь, сказал: — Вы «Гамлета» увидите! — И так же неслышно исчез в глубине следующей комнаты.

* * *

Через три дня мне сняли гипс, забинтовали ногу и велели лежать, а еще через три дня меня транспортировали перед началом спектакля в оркестр, где устроили мне преудобнейшее сиденье рядом с «турецким барабаном».

Я видел «Гамлета» — и, если б не Вольский, разочаровался бы в постановке. Я ждал того, что надумал ночью. Я ждал — и вспоминались мне строки Майкова, где

Ряд норманнов удалых,
Как в масках, шлемах пудовых,
С своей тяжелой алебардой.

А тут что? Какие-то тонконогие испанцы в кружевах и чулочках с мышеколками сбоку. Расшаркиваются среди королевских палат с золочеными тонконогими, как и сами

Ф. К. Вольский

эти придворные, стульями и столиками, и в первом акте, в шелковых чулочках и туфельках, гордо расхаживают зимой на открытой террасе...

Жалел я, что Офелию дали изящной и хрупкой институтке Струковой, а не Наталии Агафоновне Лебедевой из типа русских женщин, полных сил и энергии, из таких, о которых сказал Некрасов:

Есть женщины в русских селеньях...

Я представлял себе Офелию вроде Жанны д'Арк. И только один Гамлет Ф. К. Вольский явился таким, каким я накануне представлял Гамлета по песне Офелии:

В белых перьях, статный воин,
Первый в Дании боец...

На нем не было белых перьев. Одет он был по традиции, как все Гамлеты одеваются, в некое подобие испанского костюма, только черное трико на ногах и черный колет, в опушении меха, что и очень красиво и пахнет севером. На голове опять-таки не испанский ток, а некоторое его подобие, с чуть заметной меховой опушкой, плотно облегающий голову до самых ушей, сдвинутый на затылок и придающий строгому лицу, напоминающему римского воина, открытое выражение смелости и непреклонности. Это был викинг в испанском костюме, и шпага его была длиннее и шире шпаг придворных.

Как ярко подчеркивали его силу и непреклонность рыцарскую извивавшиеся в поклонах, в сиреневых чулочках на тонких ногах, Розенкранц и Гильденштерн.

Вольский сам тоже подчеркивал это. В певом же акте я порадовался и сказал про себя: «Да, это Гамлет, какого я представлял себе тогда ночью».

Гамлет — Вольский, в сопровождении двух приставленных к нему королем его друзей, Горацио и Марчелло, вышёл на террасу, где появлялась тень отца. Он одним взма-

хом накинул на себя тяжелый плащ, который сразу красиво задрапировал его фигуру.

Только один Южин так красиво умел драпироваться в плащ и римскую тогу.

Горацио и Марчелло стали Гамлету поперек дороги:

«Марчелло. Вы не пойдете, принц!

Гамлет. Руки прочь!

Горацио. Послушайтесь! Мы не пустим вас!

Гамлет. Судьба меня зовет и каждую малейшую жилку делает такой же мощной, как мышцы льва немейского. Пустите же...»

Вольский расправил плащ, красиво повисший на левом плече, и правой рукой отстранил Горацио. Горацио играл Новосельский, родной брат Вольского, на голову выше его, а Марчелло — такой же высокий Никольский.

«Гамлет. Все зовет! Пустите! Клянусь небом, я сделаю призраком того, кто станет удерживать! Прочь!»

Гамлет — Вольский буквально отшвыривает двух рыцарей и величественно и смело идет к тени.

Это «первый в Дании боец», это сын короля-викинга, Гамлет, это — принц датский.

* * *

Король и королева в смущенье встали с трона и поспешно ушли. За ними в суматохе кинулся весь двор. Сцена опустела. Гамлет, рядом с Горацио, стоял, откинув обе руки назад, слегка поддавшись корпусом вперед: тигр, готовый ринуться на добычу. Он подвинул левую ногу, голова его ушла в плечи, и, когда толстяк-придворный последним торопливо исчез в кулисе, Гамлет, с середины сцены, одним могучим прыжком перелетел на подножие трона. Он выбросил руку вслед ушедшим. Его лица не было видно, но я чувствовал по застывшей на миг позе и стремительности прыжка его взгляд торжествующего

победителя. Продолжалось ли это несколько секунд или несколько минут, но театр замер... не дышал.

Вдруг Гамлет — Вольский выпрямился, повернулся к Горацио, стоявшему почти на авансцене спиной к публике. Его глаза цвета серого моря от расширенных зрачков сверкали черными алмазами, блестели огнем победы... И громовым голосом, единственный раз во всей пьесе, он с торжествующей улыбкой бросил:

— Оленя ранили стрелой!

Был ли это клич победы или внезапной радости, как у Колумба, увидевшего новую землю, но театр обомлел. Когда же через минуту публика пришла в себя, грянули аплодисменты, перешедшие в грохот и дикий вой.

* * *

Я видел всех знаменитостей за полвека, я видел и слышал овации в самые торжественные моменты жизни сцены, но все это покрывалось для меня этими пережитыми минутами, может быть, потому, что я был тогда молод и весь жил театром.

* * *

Кончился тамбовский сезон. Почти все уехали в Москву на обычный великопостный съезд актеров для заключения контрактов с антрепренерами к предстоящим сезонам. Остались только друзья Григорьева да остался на неделю Вольский с семьей. Ему не надо было ехать в Москву: Григорьев уже пригласил его на следующую зиму; Вольского вообще приглашали телеграммами заранее.

Летние сезоны Вольский никогда не служил и, окончив зимний, ехал на весну и лето к своему отцу, в его имение, занимался хозяйством, охотился, готовил новые роли. Он остался по просьбе губернаторши, чтоб участвовать в воскресенье на второй неделе поста в литературном вечере, который устраивался в пользу какого-то приюта.

Литературный вечер был в губернаторском доме. На правой стороне эстрады в зале, ярко освещенном люстрами и настенными бра, стоял буль-столик с двумя канделябрами по двенадцати свечей в каждом, а для чтеца был поставлен тяжелый старинный стул красного дерева с бронзой, с невысокой спинкой.

Тамбовское дворянство наполнило зал. Помещики из своих имений съехались с семьями. Шуршали шелка, звенели шпоры. Дамы в закрытых платьях, мужчины в сюртуках: танцев по случаю поста не было.

Вечер открыл чтением своей новой комедии местный писатель — драматург Ознобишин. Фамилия Вольского стояла последней в программе, что было сделано с его разрешения:

— А то после вас все боятся читать!

Читали. Пели. Публика иногда позевывала, все ждали Вольского. Появление его, в изящном черном сюртуке, было встречено дружными аплодисментами.

Вольский читал отрывки из Тургенева и на бис — монолог Чацкого, а публика продолжала аплодировать, хотя и видела, что артист устал. Прочел он наизусть «Тройку» Гоголя, что окончательно привело в восторг слушателей, аплодисментами не пускавших артиста со сцены. Чуть Вольский делал шаг назад, аплодисменты раздавались громче.

Вдруг из глубины зала, слева от сцены, послышался нежный, робкий, молящий голос:

— «Гамлета»!.. «Быть или не быть»!

Это, повидимому, ответило желанию всех, и зал застонал:

— «Быть или не быть»!!! «Гамлета»!!! «Гамлета»!!!

Ознобишин, скрывший меня от публики перед началом вечера в артистической комнате, сам принес стул за левую кулису, на авансцене, и я ближе всех мог видеть лицо Вольского. Он действительно устал, но при требовании

Гамлета улыбнулся, подошел к столу, из хрустального графина налил воды и выпил. Публика аплодировала, приняв это за согласие.

Затем он двумя пальцами взял за ушко спинки тяжелый стул и, без всякого усилия приподняв его, красивым движением поставил перед собой, ближе к авансцене.

От восторга тамбовские помещики, сплошь охотники и лихие наездники, даже ногами затопали, но гудевший зал замер в один миг, когда Вольский вытянутыми руками облокотился на спинку стула и легким, почти незаметным наклоном головы, скорее своими ясными глазами цвета северного моря дал знать, что желание публики он исполнит. Артист слегка поднял голову и чуть повернул влево, вглубь, откуда раздался первый голос: «Гамлета», «Быть или не быть».

Его красивая, статная фигура, даже пальцы его белых рук замерли на красном фоне спинки стула. Он как-то застыл. Казалось, что глаза ничего не видят перед собой или видят то, что не видит никто, или недвижно ищут ответа невозможного.

— Быть или не быть? — спрашивает он у самого себя, еще не говоря этих слов. Но я читаю это в его глазах. Его лицо я видел в три четверти, как любят снимать некоторые лица фотографы. Прошло несколько секунд безмолвного напряжения. Я, по крайней мере, задержал дыхание — и это показалось мне долгим.

— Быть или не быть? — спрашивает он у самого себя. Красивые губы его чуть шевелятся.

И читает, или, вернее, задает сам себе вопросы, сам отвечает на них, недвижный, как прекрасный мраморный Аполлон, с шевелюрой Байрона, с неподвижными, как у статуи, глазами, застывшими в искании ответа невозможного... И я и вся публика также неподвижны, и также глаза всех ищут ответа: что дальше будет?.. «Быть или не быть?» И с этим же недвижным выражением он закан-

чивает монолог, со взглядом полного отчаяния, словами: «И мысль не переходит в дело». И умолкает.

А публика еще ждет. Он секунду, а может быть, полминуты глядит в одну и ту же точку — и вдруг глаза его, как серое северное море под прорвавшимся сквозь тучи лучом солнца, загораются черным алмазом, сверкают на миг мимолетной улыбкой зубы, и он, радостный и оживленный, склоняет голову. Но это уж не Гамлет, а полный жизни, прекрасный артист Вольский.

От рукоплесканий дрожит весь зал, и, уходя семь раз со сцены и семь раз возвращаясь на вызовы, раскланиваясь, он останавливает на миг свой взгляд в левой стороне зала, где минуту назад Гамлет искал ответа невозможного. Там сидели Струкова и Вася.

* * *

В продолжение лет десяти и долго после этого, в разные минуты жизни, даже во время русско-турецкой войны, в пластунских секретах, под самым носом неприятельского часового, мне грезился этот вечер, когда я в последний раз в моей жизни видел Вольского.

С тех пор я не видал его. Он как-то исчез из моих глаз: бросил ли он сцену или, как многие хорошие актеры, растаял в провинции — не знаю. Даже слухов о нем не было.

Я видел Росси, Поссарта, Южина, Ленского. Качалова, видел всех лучших русских Гамлетов, видел Гамлетов — старых трагиков, громоподобно завывавших, видел и таких, о которых говорили, что они лезут из богадельни в акробаты:

Уши врозь, дугою ноги,
И как будто стоя спит...

И всегда мне грезился Вольский — Гамлет в черном сюртуке и вместе с тем

В белых перьях, статный воин,
Первый в Дании боец.

За полвека много я пересмотрел замечательных Гамлетов, но ни разу не видел настоящей Офелии, создания Шекспира, «сотканной из тончайшего эфира поэзии». Я понял Офелию после, много-много позднее, когда понял и Гамлета. И тогда только я вспомнил первую Офелию, неопытную еще артистку, изящную, тонкую, стройную мечтательницу — Струкову. В то время, когда я ее видел, она мне казалась неподходящей к обстановке грубых, полудиких норманнов, созданных моим воображением. Долго я думал так, много пересмотрел Офелий — и, наконец, понял, что настоящей Офелией была та, семнадцатилетняя Струкова, с ее маленьким голоском и украшавшей ее неопытностью.

ПОЭТ БЛОК

В декабре 1917 года я написал поэму «Петербург», прочитал ее своим друзьям и запер в стол: это было не время для стихов. Через год купил у оборванного, мчавшегося по улице мальчугана-газетчика «Знамя труда», большую газету на толстой желтой бумаге. Дома за чаем развертываю, читаю «Двенадцать». Подпись: «Александр Блок. Январь».

Блока я считал декадентом, как и всю плеяду молодых поэтов, писавших в московских журналах этого направления. Самого Блока я видел только раз, в «Славянском базаре», в компании с молодыми людьми. Они проходили мимо нас к выходу, и среди них я невольно залюбовался Блоком. Сюртук ловко сидел на его фигуре, и его свежее лицо показалось мне знакомым: где это я его видел? Лицо, глаза и рамка курчавых волос, будто с портрета Байрона, пластические движения стройного тела — все вместе напоминало мне кого-то близкого.

Проходя мимо нас, он бросил взгляд на наш стол, но мысли его были где-то далеко, он нас не заметил, и эти глаза цвета серого моря подтвердили, что они мне знакомы. Да где же, где я его видел? Так и не припомнил!

Прочитав газету, я ее передал моей молодежи, поклонникам Блока. Когда они начали читать вслух стихи, я был поражен, а когда прослушал все — я полюбил его. И захотелось мне познакомиться с Блоком.

* * *

Выйдя из Дома Герцена, весь полный впечатлений, я присел на холодную мраморную ступеньку пьедестала пушкинского памятника, присел и задумался.

Это было ночью девятого мая 1921 года.

В серьезные минуты жизни всегда приходят на память какие-нибудь мелочи из прошлого. В пластунских секретах, под самой неприятельской цепью, когда я собирался снять противника, мне вспоминались солдаты-статисты, которые в «Хижине дяди Тома» сняли парики из вязанки, думая, что шапки. В Сербии, когда мы от неминуемой казни, вместе с одним товарищем, в грозовую ночь, по крутым улицам Белграда, обращенным ливнем в горные потоки, пробирались к Дунаю, чтоб переплыть из Сербии в Венгрию, я радовался тому, что успел захватить табакерку, и угощал его табаком, а он отмахивался:

— До табакерки ли теперь!

А она мне всего дороже была в тот миг. И сейчас, сидя под памятником, вспоминалась зимняя лунная ночь в 1882 году в Москве.

Возвращался я с дружеской пирушки домой и вижу возню у памятника. Вижу — городовой и ночной сторож бьют какого-то плохо одетого человека, но никак с ним сладить не могут, а тот не может вырваться. Я соскочил с извозчика, подлетел, городового по шее, сторожа тоже. Избиваемый вырвался и убежал. Сторож вскочил — и на

меня, я его ткнул головой в сугроб. Городовой, вставая, схватился за свисток — я сорвал его у него с шеи, сунул в свой карман, а его, взяв за грудь шинели, тряхнул:

— За что вы били человека? — а сам трясу.

Голова его то на грудь, то к спине. Сторож вылезает из сугроба. Все это дело одной минуты. Обеими руками городовой ухватился за мою руку, но тщетно.

— За что? — спрашиваю.— Я сейчас поеду к Александру Александровичу, он мой дядя... Вон у него огонь в кабинете. Я сейчас от него.

Слова эти произвели эффект невероятный. Племянник Козлова, обер-полицмейстера!

— Вашекобродие, простите!.. Свисточек-то пожалуйте мне,— умоляет вытянувшийся городовой.

Сторож подходит, слышит мирный разговор, видит, как я возвращаю свисток.

— Ты знаешь, кто они? Так что вот вроде Пушкина,— и показал рукой на памятник.

— Ты разве знаешь, что я поэт? — обрадовался я своей неожиданной популярности: я только что начал печататься.

— Как же с! Прямо-таки Пушкин!.. Рука-то чугунная!

Я тогда жестоко был обижен в своей поэтической гордости.

* * *

Это воспоминание опять меня вернуло в Дом Герцена, к только что пережитым минутам.

В те огненные времена было не до поэзии, а я все-таки думал напечатать «Петербург», предварительно прочитав его Блоку. Это был законный предлог повидаться с ним, это было моей неотвязной мечтой. Только в 1921 году я познакомился с ним, но весьма мимолетно.

Девятого мая 1921 года возвращаюсь откуда-то поздно вечером домой Тверским бульваром. Большие окна Дома

Герцена по обыкновению ярко освещены. Я отворил дверь в зал союза писателей в то время, когда там гремели аплодисменты.

— Кому это? — спрашиваю.

— Блок читает!

— А!..

Блоку безумно аплодировали. Он стоял в глубине эстрады. Я ринулся в гущу толпы, желая во что бы то ни стало пробиться к нему, послушать его и познакомиться. Лучшего случая не найдешь! Решил,— значит, пройду, пусть меня бьют, а я пройду.

Мой желтый кожаный пиджак, видавший виды, остался без пуговиц; но будь пиджак матерчатый, я бы на эстраду попал полуголый.

Я подходил к эстраде, когда Блок читал. Публика, храня тишину, слушала; я безмолвно вдавливался между стоящих, неотразимо лез вперед, без звука. Меня пихали ногами, тыкали иногда мстительно в бока и спину, отжимали всем корпусом назад, а я лез, обливаясь потом, и, наконец, был у эстрады.

Блок стоял слева у окна, в темной глубине, около столика: за публикой, стоявшей и сидевшей на эстраде, я не мог его видеть.

Я остановился с правой стороны у самой стенки, плотно прижатый.

Втискиваю голову в чьи-то ноги на эстраде, поднимаюсь, упершись на руках, вползаю между стоящих, потратив на этот гимнастический прием всю силу, задыхаюсь, прижимаясь к стене. За толпой его не видно. Натыкаюсь у стены на обрубок, никем, должно быть, не замеченный. Еще усилие — и я стою на нем, выше всех на голову.

Офелия моя! —

услыхал я слова.

В черном сюртуке, единственном во всем зале, опершись на спинку кресла красного дерева кистями обеих рук, белых-белых, стоит передо мной — Вольский.

Он читает, чуть шевеля губами; но каждое слово, переходившее иногда в полушопот, ярко слышно.

Ни одного жеста, ни одного движения. А недвижные глаза, то черные от расширенных зрачков, то цвета серого моря, смотрят прямо в мои глаза. Я это вижу, но не чувствую его взгляда. Да ему и не надо никого видеть. Блок читал не для слушателей: он, глядя на них, их не видел.

Блок не читает: он задает себе вопросы и сам себе отвечает на них.

Я смущен... Ведь это же Федор Каллистратович Вольский. Это он читает из «Гамлета»... И те же руки белые на спинке красного кресла и черный сюртук... те же волосы... взгляд... как тогда.

Но где же губернаторский зал? Мундиры, шелка, бриллианты? А глаза чтеца ищут ответа невозможного. Едва движущиеся губы упорно и трогательно спрашивают:

Зачем, дитя, ты? — мысли повторяли...
Зачем, дитя? — мне вторил соловей,
Когда в безмолвной, мрачной, темной зале
Предстала тень Офелии моей...
И, бедный Гамлет, я был очарован,
Я ждал желанный, сладостный ответ.

— Нет, это не Вольский... Это сам Гамлет... живой Гамлет... Это он спрашивает: быть или не быть?..

Гамлет, наконец, превращается в Блока, когда он читает:

Я только рыцарь и поэт,
Потомок северного скальда...

Тогда в его глазах на один миг сверкают черные алмазы. И опять туман серого моря, и опять то же искание ответа. Это Гамлет, преображенный в поэта, или поэт, преображенный в Гамлете. Вот на миг он что-то видит не

видящим нас взором и говорит о том, что видит. Да, он видит... видит... Он видит, что

Офелия в цветах, в причудливом уборе
Из майских роз, и влажных нимф речных
На золотых кудрях, с безумием во взоре,
Внимала звукам темных дум своих.
Ее дыханьем на смерть пораженный,
Припал к устам, как раненый олень,
Прекрасный принц Гамлет, любовью опьяненный,
Когда пред ним отца явилась тень...
Он вскрикнул и воскрес...

И Вольский... и Гамлет... и поэт Блок — все перемешалось в моем представлении... Потом исчез Вольский... Потом Блок и Гамлет слились воедино...

Цикл Офелии кончился — аплодисменты гудели, а он читал, читал, читал, читал... Русь... Степи...

Бледный... измученный... Он уже при самом начале аплодисментов поднимал свою красивую белую руку:

— Молчите, я еще не все сказал, я еще не договорил...— И начинал читать. И читал. Одно после другого, разное, без заглавий, совершенно противоположное. Чувствовал ли он, что в последний раз говорит перед Москвой?..

Иногда аплодисменты заставляли его просыпаться от этой лирической летаргии, и маска лица то освещалась черными алмазами зрачков, то опять потухала.

Он читал из отдельных стихотворений, импровизировал отдельные строки, будто отвечал на какую-то общую связь дум своих, в искании ответа невозможного, глядя в грядущее... Забывался на эти минуты Гамлет... И вдруг:

Тебя, Офелию мою,
Увел далеко жизни холод,
И гибну, принц, в родном краю,
Клинком отравленным заколот.

Блок слился опять с Гамлетом. Для меня навсегда. Зал гремел и стал еще теснее. Публику с эстрады попросили сойти, дать воздуху.

Утомленный, бледный, опустился поэт на жесткое кресло, но вскоре оживился. Я успел пробиться и встать за его креслом. Нас около Блока было немного. Глаза у Блока еще усталые, но уже совсем другие, не такие, как за минуту назад, во время чтения, смотрели внимательно.

Вот в это-то время и познакомил нас, по моей просьбе, П. С. Коган. Рука Блока была горячая, влажная. Он крепко пожал мою.

— Я вас сразу узнал по портрету в журнале «Геркулес». В то время я увлекался гимнастикой, хотел быть сильным.— Глаза его оживились. Он говорил со мной дружески, будто со старым знакомым.— Мне тогда о вас Брюсов говорил... Он рассказывал, что вы очень сильный, что вы по Москве ходите с железной палкой почти в полпуда весом, говорил, что Пушкин также с такой палкой ходил в Михайловском и, развивая силу, жонглировал ею.

Я успел с восторгом упомянуть о его «Двенадцати», рассказать о своем «Петербурге» и о желании прочитать ему поэму.

— Осенью я обязательно буду в Москве, и мы с Петром Семеновичем (Коганом),— я остановлюсь у него,— с вами повидаемся и почитаем,— ответил он, помолчав.

Я подал ему свою книжку, карандаш, и он мне широким, ясным почерком написал:

Как часто плачем вы и я
Над жалкой жизнию своею.

Александр Блок, 1921 г.

Этой гамлетовской фигурой как бы заканчивается для меня галлерея промелькнувших более чем за полвека людей театра. От безвестных перелетных птиц, от случайных обликов до таких вершин, как В. Н. Андреев-Бурлак, А. И. Южин, К. С. Станиславский и М. Н. Ермолова.

Картино. 1932—1933.
Столешники, 1934—1935.

ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ АКТЕРЫ

(Заметка по поводу съезда актеров в Москву)

Не один десяток лет провинциальные актеры и антрепренеры со всей России и из Сибири съезжаются в Москву великим постом. Первые для того, чтобы «кончить» (заключить контракт) на летний и зимний сезон или составить предприятие на артельных началах, а вторые — для составления труппы.

Впервые, много лет тому назад, актеры начали собираться в трактире Барсова, в доме Бронникова на Большой Дмитровке, где существовала знаменитая колонная зала, известная под именем «Белой залы». Здесь-то и собирались былые знаменитости провинциальной сцены: Милославский, Никитин, Полтавцев, Рыбаков, Григоровский, Васильевы, Дюков, Смольков, Лаухин, Смирнов, Григорьев, Павлов, Медведев. Немногие из них остались в живых.

В начале семидесятых годов местом сборища актеров великим постом сделался трактир Щербакова на Кузнецком мосту. Содержатель этого ресторана был общим любимцем актеров. Он многих из них в минуту карманной невзгоды, обязательно появляющейся у актера к концу поста, снабжал на дорогу деньгами, и, надо отдать честь старым актерам, никто из них не оставался в долгу: деньги возвращались после первого же бенефиса или получки жалованья. Ресторан славился, между прочим, растегаями с мясом.

Растегай во всю тарелку стоил пятнадцать копеек. К нему еще подавалась за ту же цену тарелка прекрасного бульона, и к концу поста актеры, у которых средства оскудевали, питались только этими растегаями. В 1881 году «Щербаки» закрылись, и теперь актеры собираются в разных других ресторанчиках, конечно, доступных по ценам. Актрисам же собираться положительно негде. Благодетельным учреждением для провинциальных актеров был Артистический, блаженной памяти, кружок, где была настоящая биржа актеров. В прошлом году Лентовский, сам бывший провинциальный актер, знающий нужды этого мира, предоставил в распоряжение актеров фойе своего театра, а иначе актрисам, не могущим появляться в ресторанах, трудно было встретиться с антрепренерами...

Но чаще всего актеры собираются в ресторане «Ливорно», в Газетном переулке. С двенадцати до четырех часов пополудни «Ливорно» представляет совершенно особый вид. Сквозь густые клубы табачного дыма слышится гомон невообразимый. Небольшая швейцарская увешена шубами, пальто, шапками и шляпами самых разнообразных форм и цветов. В самом ресторане за каждым столом, сплошь уставленным графинами и бутылками, сидят тесные кружки бритых физиономий, обладатели которых в большинстве случаев пестро и оригинально одеты: какие-то пиджаки и брюки водевильных простаков, ужасные жабо, галстуки, жилеты, то белые, то пестрые, бархатные, то русские поддевки. На всех этих костюмах в первую половину поста блещут цепи и масса брелоков. Перед многими на столах сверкают серебряные портсигары, многие неумело, будто в первый раз, стараются надеть на нос золотое пенсне... Часы поминутно вынимаются, и обладатели часов и портсигаров каждому новому лицу, в сотый раз, рассказывают о тех овациях, при которых поднесла им публика эти вещи.

И нельзя винить актеров за это хвастовство. Они должны показывать свое материальное благополучие. Антрепренеры этим последним платят большое жалованье, а несчастных, нуждающихся актеров «покупают» на этом рынке невольников таланта и нужды за половинную цену. Трезвые, чистые, с гардеробом, зачастую бесталанные актеры пользуются большим уважением у антрепренеров. Между актрисами хороший гардероб имеет еще больше влияния на размер жалованья при найме. Здесь платье красит человека: товар продается лицом...

Первые две-три недели поста поблещут актеры подарками от публики, а там начинают «линять». Портсигары не выкладываются на стол, часы не вынимаются, а там и сюртуки плотно застегиваются, потому что и цепочка вслед за другими вещами уходит в ссудную кассу... А затем туда же за бесценок следует и гардероб...

Добытые трудом деньги легко, безалаберно проживаются актерами в разных «Ливорно». Кроме того, что много денег пропивается, вместе с актерами в рестораны являются всякие темные личности, бессовестно обирающие разными способами этих вечно увлекающихся тружеников. Антрепренеры, уменьшающие до минимума заработок актера, пользуясь его безысходной нуждой, обкрадывают его оптом, а эти темные личности вместе с содержателями ссудных касс обкрадывают его по мелочам. Кроме того, шулера обирают актеров в кегли, на бильярде, в карты, в домино.

Настоящим постом только и слышно между актерами в «Ливорно», что там не заплатили, здесь антрепренер сбежал, тут описали кассу за антрепренерские долги...

Все чаще и чаще приходится узнавать эти грустные для актера события. Театральное дело в материальном отношении в провинции все падает и падает.

Положение провинциального актера с точки зрения материального обеспечения — ужасно. Никто так безбожно

не обирается, ни у кого нет таких побочных расходов, как у провинциального актера. Провинциальный актер никогда не знает наверное, получит ли он жалованье...

Не обеспечен ни актер, ни его семья... Дети в редком случае получают воспитание мало-мальски приличное... Увечье актера, болезнь, смерть (всегда почти в больнице) — и семья его в полном смысле слова без куска хлеба... Дети, избалованные при жизни отца лакомым куском, без хлеба... И много случаев, когда актеры проживают до нитки все имущество, должают, и «по случаю», за бесценок скупаются на предстоящий сезон антрепренерами, ловящими такой случай...

Антрепренеры, держащие театры, ради наживы роняют театральное дело.

А таких антрепренеров много.

Вообще, большинство антрепренеров — кулаки, выжимающие, так сказать, последние соки из актера, или люди, ничем не обеспеченные и ведущие дело на риск. Исключения редки, и они известны актерам.

Редкий антрепренер затратит теперь свои деньги на труппу. В большинстве случаев эти господа идут на верный выигрыш, загребая жар актерскими руками, всегда рискующими остаться без куска хлеба. Самые контракты, выдаваемые антрепренерами актерам, почти никогда не обеспечивают положения нанимаемого. У каждого антрепренера имеется свой печатный контракт, наполненный условиями, соблюдающими только выгоду антрепренера, а у актера всякая вина виновата. «Если актер не понравится публике во время сезона», антрепренер может его уволить. Если не явится на спектакль — штраф в размере месячного оклада. Если опоздал на репетицию — штраф. Если актер не послушается замечания режиссера — штраф. Если актер болен более трех дней, жалование не считается. И антрепренер штрафует актера, берет с него, что хочет, в пользу своего кармана. Все на стороне антрепрене-

ра. Если он не заплатит в срок жалования — актер будет ждать сколько угодно, так как в разгар сезона ему некуда деваться, а о других неисполнениях контрактных условий и говорить нечего. Если актеру обусловлены в контракте бенефисы, то эти бенефисы по воле антрепренера даются в самый невыгодный день. Большинство антрепренеров счастливы были бы дать, если бы это было возможно, бенефис в страстную субботу. Надо сказать при этом, что в бенефис не весь сбор поступает в пользу актера, а только половина за вычетом вечерового расхода, иногда превышающего по условиям антрепренера сто рублей. Если же сбор на предполагаемый бенефис вследствие каких-либо причин не достиг ста рублей, то актер уплачивает антрепренеру недостающую сумму из своих денег. У одного из антрепренеров, между прочим, есть такой пункт в контракте: «Актер выписывает за свой счет пьесу и ноты в свой бенефис, а после бенефиса как пьеса, так ноты и вся оркестровка поступают в мою пользу».

У этих антрепренеров актер получит хоть что-нибудь, зато наверно. Но большинство расплодившихся за последнее время антрепренеров набирают труппу, не рискуя своей копейкой и ставя на карту существование труппы. Обыкновенно такой антрепренер является в город, разными происками оставит за собой театр, сдаст за арендную плату вешалку и буфет, получит от арендаторов изрядный куш авансом и на эти деньги набирает труппу, давая гроши в задаток. Начинается сезон, дела идут в большинстве случаев плохо, так как подобные антрепренеры не в состоянии вести дело, и антрепренер, задолжав всюду в городе и забрав кассу театра, отложит себе на черный день денег и или сбежит или нагло является перед труппой и, объясняя неимением сборов, отказывается быть антрепренером и предлагает актерам играть товариществом. Актеры, обобранные, обманутые, посердятся, но, видя свое безысходное положение, мирятся с обстоятельствами и

впроголодь кончают сезон, иногда платя долги антрепренера, обобравшего сборы в лучшее время сезона. А последний вновь снимает где-нибудь театр, и вновь к концу великого поста, когда большинство актеров без мест, является в Москву и, помня пословицу «было бы болото, а черти будут», формирует труппу. И голодные, зная прошлогоднюю проделку антрепренера, все-таки идут к нему, потому что за номер платить нечем, есть нечего, некуда и не на что ехать.

Какова нужда актеров, показывает следующий факт: один из актеров в прошлом году сам думал сделаться антрепренером, снял театр и, не имея денег, набирая труппу, сказал: «Денег у меня нет, предупреждаю. Вы, господа, сидите в Москве без дела, поедемте в город. Денег получать вы не будете, а квартира, стол и водка будут». И нужда заставила согласиться на эти условия...

Бывают случаи, что и порядочный антрепренер, человек с деньгами, по примеру прошлых лет рассчитывающий взять в сезон известную сумму, ошибается и разоряется вследствие частных причин. Неурожай, какая-нибудь ссора антрепренера с представителями местной аристократии, конкурирующий цирк, фокусник, разыгрывающий корову в лотерею, и т. п. окончательно губят сезон, и антрепренер, стараясь не тратить своих денег, не платит актерам. Ежегодно масса денег, заработанных актерами, ни за что ни про что поглощается антрепренерами.

Если бы актеры работали на артельных началах, то деньги, обогащающие антрепренера, были бы в их кармане. Об этом уже много говорилось, составлялись прекрасные проекты покойными гг. Л. Н. Самсоновым, Н. П. Киреевым и др. Но товарищества эти редко достигали своей цели, так как составлялись необдуманно, по пословице: «Кто палку взял, тот и капрал». Капралом обыкновенно являлся какой-нибудь известный «Кречинский» и работал для своего кармана и для интересных ему лиц, и товари-

щество не достигало желаемого результата. «Кречинский» обсчитывал, обкрадывал, лучшие роли давал своим любимцам и т. п., и товарищество превращалось в замаскированную антрепризу.

Пора, пора провинциальным актерам, этим труженикам искусства, «просвещающего умы и смягчающего сердца», сделаться самостоятельными и довести театр в провинции действительно до высоты народной школы, каким он должен быть, а не развращать полуграмотную публику, падкую на ужасные зрелища авторов-аферистов, и достигнуть того, чтобы эта публика не нуждалась в рекламах и зазываниях, к которым приходится прибегать теперь. Так, между прочим, провинциальная публика особенно удачно ловится на большие афиши с нарисованными на них чертями, драконами и самыми страшными названиями актов и картин. У нас есть целая коллекция афиш из разных провинций, и вот их образчики:

1. 13 декабря 1881 г. в Коломенском театре в первый раз: «Еврей, или Слава и позор». Новая (?) драма в 4 действиях, соч. В. Каратыгина. Действ. I-е. Королевская охота. II-е. Подкуп подлеца и проклятие отца. III-е. Брачный договор, веселый разговор и смертный приговор, и IV-е. Темница и эшафот, плаха.

Орел, «Сват Фаддеич, или Разбойники на зимовке». Картины: 1-я «Свидание в кузнице», 2-я «Петербургский сыщик», 3-я «Архимандрит на спокое» (?) и 4-я «Ждали из-за поморья, а пришел из задворья».

В Острогожске во время летнего сезона несколько лет назад на столбах и заборах появился какой-то разными яркими красками нарисованный круг, похожий на гаданье «Царя Соломона». Оказалось, что это афиша на бенефис актера Д. Д. Рыбакова, вещающая, что 1 июля идет «Забубенная головушка» со следующими картинами: 1-я «Бегство детей непокорных из земли халдейской в землю

ханаанскую», 2-я «История подкидыша», 3-я «Адская интрига» и 4-я «Надорванная сила».

И Рыбаков только благодаря афише взял хороший сбор. А вот еще афиша, имеющая в длину 2 аршина и 5½ вершков:

«Орел. С дозволения начальства 27-го октября 1878 г. в бенефис Лаврова-Вишневского, под дирекцией А. Е. Воронова, поставлено будет: «Казнь безбожному», «Новая лирическая трагедия в 5 эпохах, соч. г. Браве, с костюмами с I-го по XIX век». «Пьеса эта выдержала 1000 представлений кряду на столичных театрах и в Париже». Далее на афише помещен громадный рисунок, изображающий какого-то барина в халате, читающего лекцию волкам, чертям, драконам, змеям и т. п., затем названия: эпоха 1-я проклятие. Картина 1-я «Вечный жид» и 2-я «Пожар Иерусалима». Действие в 33 году в Иерусалиме. Эпоха 2-я Гонения христиан, картины: «Клеврет кесаря и пещера христиан». Действие в 53 г. Эпоха 3-я «Моровая язва» и картина «Угнетение евреев и жизнь за жизнь». Действие в Страсбурге, в 1553 году, Эпоха 4-я «Воскресение и смерть», картины: «Страдание еврея и убийство». Действие на развалинах кладбища язычников. Эпоха 5-я «Преддверие ада». Картины: «Искушение сатаны и славословие. Действие в 1836 году во время холеры». Затем: «Страшный суд. Картина 1-я «Отпущение грехов» и картина 2-я «Воскресение мертвых». Действие по окончании века, в заключении чего всей труппой будет исполнена русская пляска».

И вот эти-то афиши, с подобными названиями картин, до сих пор привлекают публику и составляют одну надежду бенефициантов на полный сбор...

Кроме того, провинциальные актеры, не обеспеченные материально, положительно разоряются вследствие запрещения играть на русском языке драму и комедию великим постом, и в то время, когда русский актер, толкователь

Гоголя, Грибоедова, Островского, сидит голодный с своей семьей, проживает последний грош без работы, он должен смотреть на торжествующие труппы иностранцев, дающих часто сальные, развращающие нравственность представления, на разные хоры цыган, дающих «концерты» с плясками, на иностранок в балетных костюмах, поющих шансонетки...

Вл. ГИЛЯРОВСКИЙ

„Русские ведомости", № 76,
19 марта 1886 г.

ПРОКОРМИТЬСЯ БЫ

(Из жизни актеров)

Нынешним летом мне случилось быть в городе О. Я остановился в гостинице, а так как день был свободный, пошел прогуляться по городу. На самой главной улице у подъезда гостиницы толкался народ, окружив какой-то громадный вагон, стоявший на улице.

— Что это там делается? — спросил я одного из лавочников.

— Актеров провожают, ну, и глядят,— пояснил он мне.

Я подошел ближе, в самую толпу. Перед нами стоял громадный старый, вылинявший рыдван, напоминавший не то «Ноев ковчег», не то самый скверный вагон железной дороги. Рыдван был запряжен четверней замореных лошадей самого жалкого вида. На широких оборванных козлах сидел не менее оборванный ямщик.

В толпе шли примерно такие разговоры:

— Актеров-то, гляди, как возят, в чем...— обращается мещанин к женщине.

— А рази в другом можно? Сейчас их на две половины: женское сословие в одну, мужчинов в другую...

— С ними вместе и зверье посадят? — любопытствует маленький мальчик.

— Это без зверья, это другие актеры, со зверьем — зверинцы, а это киатральные, сами зверье приставляют...

Сейчас удивиль есть: «Медведь и паша», так мой постоялец медведя сам в овечьем тулупе приставлял на киатре...

— Как это им охота? Тоже люди, а такими делами занимаются! Лучше бы работали...

Я невольно задумался над последней фразой.

— Вы какими судьбами здесь? — вдруг услышал я сзади.

Оглянулся — мой старый знакомый, актер Л...

— По делу приехал,— сказал я.

— А вот и мы по делу едем,— сказал Л., указывая на рыдван.

— Куда же?

— В Симбирск, верст полтораста отсюда. Здесь наше дело расстроилось, сборов не было, вот и едем. Бог даст, прокормимся... Вот и наши идут. Знаком?

Из гостиницы вышли пять актеров и две актрисы. Из актеров трое были знакомы. С другими и с актрисами меня познакомил актер К.

— Ну, что, все уложено? — спросил Л., одетый в русскую поддевку, подпоясанную кавказским поясом.

Из рыдвана высунулся высокий, худой, как голодный заяц, помощник режиссера:

— Все-с! Только водочки бы на дорожку!

— Да, надо, возьми бутылку,— сказал Л.

— Две бы взять... дорога дальняя,— несмело заговорил актер маленького роста.

— Пожалуй, две, вот восемьдесят копеек,— подал Л. деньги.

— Помилуйте, господин Л., какой расчет, а? Добавить полтинник — четверть целую и возьмем.

— Куда четверть! Две бутылки довольно.

Помощник исчез и через минуту вернулся с водкой.

— Теперь, господа, с богом, садитесь. Вы и вы, mesdames, поезжайте до заставы на извозчиках, а мы в колеснице.

Проводишь нас, Владимир Алексеевич? — обратился он ко мне.

Я согласился, и мы вшестером поместились в рыдване.

— Трогай!

Ямщик затопал, зачмокал, засвистал, и рыдван закачался по скверной мостовой, гремя и звеня, каждый винтик в нем ходуном ходил.

Мы сидели шестеро, а места еще оставалось в этом ковчеге, хотя целый угол был завален узелками и картонками.

— А что, господа, в каком мы классе едем? — сострил кто-то.

Все промолчали.

Сидели мы по-трое в ряд, причем помощник поместился как-то в висячем положении. Сзади на главном месте сидели Л. и С. Последний стал актером недавно — это был отставной гусар, щеголь, когда-то богатый человек. Несмотря на его поношенный костюм, старый шик еще не покинул его. На руках были шведские сиреневые перчатки, а в глазу монокль. Третий сидел Р. Его бледное лицо, шляпа à la brigand, из-под которой светлыми прядями спускались жидкие прямые волосы, выгоревшее и поношенное пальто и сапоги в заплатах как нельзя более подходили к окружающей обстановке.

— Что будет в Симбирске? — заговорил он.

— Я думаю, что будут дела! Все-таки состав для такого города весьма недурен. Ты как думаешь?

— Я думаю, что выпить надо,— в ответ сказал С—ов.

— Что дело, то дело-с! — заегозил помощник и вынул бутылку.

— Погодите, господа, за заставой выпьем,— уговаривал Л.

— Да вот и застава!

Наш рыдван выкатился за два заставных столба и мягко заколыхался по пыльной дороге.

Влево в тени берез, которыми усажена была дорога, нас уже дожидались актрисы.

Мы сели на траву. Помощник режиссера откупорил обе бутылки.

— Зачем это вы обе?

— Пить-с! Да еще я думаю бутылочку бы взять... Вот и они выпьют,— указал на меня помощник.

Л. достал серебряный стакан, рыбу-воблу и связку кренделей.

— И тут без кренделей не могут. Ну, актерики-с,— сострил С—ов.

— Ну-ка, отвальную,— начал Л. и налил мне водки. Выпили, и через пять минут водки не было...

— Ну, господа, теперь в путь! — вставая, сказал Л. Попрощались. Перецеловались...

— В Москве увидимся! — крикнул из рыдвана Л.

— Увидимся постом! Желаю сотни заработать!

— Куда сотни! Дай бог прокормиться, с голоду не умереть или без платья не вернуться,— как-то печально промычал С—ов.

— До свидания!

— До свидания!

Через несколько минут рыдван скрылся за поворотом, и только долго еще треск и звон винтов и винтиков древней повозки доносился до меня по вечерней заре.

Дай им бог прокормиться!

В. ГИЛЯРОВСКИЙ

„Новости дня", № 90,
28 сентября 1883 г.

В БАЛАГАНЕ

(Из жизни актеров)

Ханов более двадцати лет служит по провинциальным сценам. Он начал свою сценическую деятельность у знаменитого в свое время антрепренера Смирнова и с бродячей труппой в сорокаградусные морозы путешествовал из города в город на розвальнях. Играл он тогда драматических любовников и получал двадцать пять рублей при хозяйской квартире и столе. Квартирой ему служила уборная в театре, где в холодные зимы он спал, завернувшись в море или небо, положивши воздух или лес под голову. Утром он развертывался, катаясь по сцене, вылезал из декорации, весь белый от клеевой краски, и долго чистился.

Лет через десять из Ханова выработался недюжинный актер. Он женился на молодой актрисе, пошли дети. К этому времени положение актеров сильно изменилось к лучшему. Вместо прежних бродячих трупп, полуголодных, полураздетых, игравших в деревянных сараях, вместо антрепренеров-эксплуататоров явились антрепренеры-помещики, получавшие выкупные с крестьян.

Они выстроили в городах роскошные театры и наперебой стали приглашать актеров, платя им безумные деньги.

Пятьсот, шестьсот рублей в месяц в то время были не редкость.

Но блаженные времена скоро миновали. Помещичьи суммы иссякли. Антрепренерами явились актеры-скопидомы, сумевшие сберечь кой-какие капиталы из полученных от помещиков жалований.

Они сами начали снимать театры, сами играли главные роли и сильно сбавили оклады. Время шло. Избалованная публика, привыкшая к богатой обстановке пьес при помещиках-антрепренерах, меньше и меньше посещала театры, а общее безденежье, тугие торговые дела и неурожай довершили падение театров. Начались неплатежи актерам, между последними появились аферисты, без гроша снимавшие театры; к довершению всех бед великим постом запретили играть.

В один из подобных неудачных сезонов в городе, где служил Ханов, после рождества антрепренер сбежал. Труппа осталась без гроша. Ханов на последние деньги, вырученные за заложенные подарки от публики, с женой и детьми добрался до Москвы и остановился в дешевых меблированных комнатах.

Продолжая закладываться, кое-как впроголодь, он добился до масленицы. В это время дети расхворались, жена тоже простудилась в сыром номере. А места все не было, и в перспективе грозил голодный пост.

— И зачем это я русский, а не немец, не француз какой-нибудь! — восклицал за рюмкой водки перед своими товарищами Ханов.

— Да, вот иностранцам скабрезные шансонетки можно петь, а нам, исполнителям пьес Гоголя и Грибоедова, приходится под заграничные песни голодом сидеть...

— И сидишь, и жена и дети сидят, а заработка никакого... Пойду завтра наниматься дрова колоть...

— Зачем дрова! Еще в балагане можно заработать,— заметил комик Костин, поглаживая свою лысинку.

— В балагане? — удивился Ханов.

— Ну да, в балагане под Девичьим...

— Стыдно, брат, в балагане...

— Стыдно? Дурак. Да мы на эшафоте играли.

— Что-о? — протянул сквозь зубы столичный актер Вязигин, бывший сослуживец и соперник Ханова по провинциальным сценам, где они были на одних ролях и где публика больше любила Ханова.

— На эшафоте, говорю, играли... Приехали мы в Кирсанов. Ярмарка, все сараи заняты, играть негде. Гляжу я — на площади эшафот стоит: преступников накануне вывозили.

— Ну, и...

— Ну, и к исправнику сейчас. Так, мол, и так, ваш-скородие, уступите эшафот на недельку, без нужды стоит...

— И уступил?

— И уступил, всего по четыре с полтиной за помещение в вечер взял, и дело сделали, и «Аскольдову могилу» ставили...

— Эт-то на эш-ша-фоте? — ломался Вязигин.

— На эшафоте...

— Странно...

— Ей-богу, брат Ханов, не брезгуй балаганом,— советовал Костин.

— Па-аслушайте, Ханов, я тоже советую: там, батенька мой, знаменитости играли, да-с...

— Я согласен, господа, как бы ни заработать честным трудом... но как попасть туда?

— А пустяки... Я карточку дам Обиралову, содержателю балагана... Он мой... да... ну, я знаю его.

— Спасибо, Вязигин, я пойду... За здоровье балаганных актеров! — крикнул Ханов, поднимая рюмку.

— Костин, вечно ты балаганишь,— как-то странно сквозь зубы процедил Вязигин.

* * *

Был холодный вьюжный день. Кутаясь в пальто и нахлобучив чуть не на уши старомодный цилиндр, Ханов бодро шагал к Девичьему полю.

Он то скользил по обледенелому тротуару, то чуть не по колена вязнул в хребтах снега, навитых ветром около заборов и на перекрестках; порывистый ветер, с силой вырывавшийся из-за каждого угла, на каждом перекрестке, врезывался в скважины поношенного пальто, ледяной змеей вползал в рукава и чуть не сшибал с ног. Ханов голой рукой попеременно пожимал уши, грел руки в холодных рукавах и сердился на накрахмаленные рукава рубашки, мешавшие ему просунуть как следует руку в рукав.

Вот, наконец, и поле, занесенное глубоким снегом, тучами крутящимся над сугробом. Посредине поля плотники наскоро сшивали дощатый балаган. Около него сидел пожилой человек в собольей шубе, окруженный толпой полураздетых, небритых субъектов и нарумяненных женщин, дрожавших от холода.

Он отбивался от них:

— Да не надо, говорят, не надо, у меня труппа полна.

— Иван Иванович, да меня возьмите хоть, ведь я три года у вас Илью Муромца представлял,— приставал высокий плотный субъект с одутловатым лицом.

— Ты только дерешься, да пьянствуешь, да ругаешься неприлично на сцене, и так чуть к мировому из-за тебя не попал, а еще чиновник. Не надо, не надо.

— Иван Иванович, нас-то вы возьмите, христа ради, ведь есть нечего,— упрашивали окружающие.

— Не надо.

Ханов приосанился, принял горделивую позу, приподнял слегка цилиндр и спросил:

— Иван Иванович Обиралов — вы?

— Я. Что угодно?

— Вязигин просил вам передать.

Тот взял визитную карточку, прочитал и подал руку Ханову.

— Очень приятно-с... От Вязигина? Мой приятель... Дела делали... Пожалуйте в трактир-с!

— Иван Иванович, как же, возьмете? — упрашивала толпа.

— Да ну, ступайте, что пристали? Сказал — не надо, некогда... Пойдемте-с.— И они с Хановым пошли.

Толпа направилась следом.

Ханов слышал, как позади него говорили: «должно, наниматься», «актер», «куда ему, жидок», «не выдержит», «видали мы таких».

* * *

Народные гулянья начались. Девичье поле запестрело каруселями, палатками с игрушками, дешевыми лакомствами.

Посредине в ряд выросла целая фаланга высоких, длинных дощатых балаганов с ужасающими вывесками: на одной громадный удав пожирал оленя, на другой негры-людоеды завтракали толстым европейцем в клетчатых брюках, на третьей какой-то богатырь гигантским мечом отсекал сотни голов у мирно стоявших черкесов. Богатырь был изображен на белом коне. Внизу красовалась подпись: «Еруслан-богатырь и Людмила прекрасная».

— Это, должно быть, я! — взглянув на рыцаря, улыбнулся Ханов, подходя к балагану.

Около кассы, состоящей из столика и шкатулки, сидела толстая баба в лисьем салопе и дорогой шали.

— Это балаган Обиралова? — обратился к ней Ханов.

— Балаганы с петрушкой, а это киятры!.. Это наши киятры... А вам чего?

— Я актер Ханов. Я играю сегодня.

— Тьфу! А я думала, с человеком разговариваю! Балаган тоже!..

«Хорошенькая встреча!» — подумал Ханов и поднялся четыре ступеньки на сцену.

По сцене, с изящным хлыстом в руке и в щегольской лисьей венгерке, бегал Обиралов и ругал рабочих. Он наткнулся на входившего Ханова.

— Так нельзя-с... Так не делают у нас... Вы опоздали к началу, а из-за вас тут беспокойся. Пошел-те в уборную, да живо одеваться! — залпом выпалил Обиралов, продолжая ходить.

Ханов хотел ответить дерзостью, но что-то вспомнил и пошел далее.

— В одевальню? Сюда пожалте...— указал ему рабочий на дверь.

Ханов поднял грязный войлок, которым был завешан вход под сцену, и начал спускаться вниз по лесенке.

Под сценой было забранное из досок стойло, на гвоздях висели разные костюмы, у входа сидели солдаты, которым, поплевывая себе на руки, малый в казинетовом пиджаке мазал лицо и руки голландской сажей. Далее несколько женщин белились свинцовыми белилами и подводили себе глаза. Несколько человек, уже вполне одетых в измятые боярские костюмы, грелись у чугуна с угольями. Вспыхивающие синие языки пламени мельком освещали нагримированные лица, казавшиеся при этом освещении лицами трупов.

Ханов оделся также в парчевой костюм, более богатый, чем у других, и прицепил фельдфебельскую шашку, исправлявшую должность «меча младенца».

Напудрив лицо и мазнув раза два заячьей лапкой с суриком по щекам, Ханов вышел на сцену.

По сцене важно разгуливал, неся на левой руке бороду, волшебник Черномор. Его изображал тринадцатилетний горбатый мальчик, сын сапожника-пьяницы. На кресле сидела симпатичная молодая блондинка в шелковом сарафане с открытыми руками и стучала от холода

зубами. Около нее стояла сухощавая в коричневом платье, повязанная черным платком старуха, заметно под хмельком, и что-то доказывала молодой жестами.

— Мама, щец хоть принеси... Свари же...

— Щец! Щец!.. Дура!.. Деньги да богатство к тебе сами лезли... Матери родной пожалеть не хотите... Щец!

— Мама, оставьте этот разговор... Не надо мне ничего, лучше голодать буду.

В публике слышался глухой шум и аплодисменты. Обиралов подошел к занавесу, посмотрел в дырочку на публику, пощелкал ногтем большого пальца по полотну занавеса и крикнул: «Играйте!»

Плохой военный оркестр загремел. У входа в балаган послышались возгласы:

— К началу-у-у-у, начинаем, сейчас начнем!

Наконец, оркестр кончил, и занавес, скрипя и стуча, поднялся.

Началось представление.

Публика, подняв воротники шуб, смотрела на полураздетых актеров, на пляшущих в одних рубашонках детей и кричала после каждого акта «бис».

В первый день пьеса была сыграна двадцать три раза. К последнему разу Черномор напился до бесчувствия, его положили на земляной пол уборной и играли без Черномора.

После представления Ханов вернулся домой веселый и рассказал жене о своем дебюте. Оба много смеялись.

На следующий и на третий день он играл в надежде на скорую получку денег и не стеснялся. Публика была самая безобидная: дети с няньками в ложах и первых рядах и чернорабочие на «галдарее». Последние любили сильные возгласы и резкие жесты, и Ханов старался играть для них. Они были счастливы и принимали Ханова аплодисментами.

Аплодисмент балагана тоже аплодисмент.

Ханов старался для этой безобидной публики, и, пожалуй, в те минуты был счастлив знакомым ему счастьем.

Он знал, что доставляет удовольствие публике, и не разбирал, какая это публика.

Дети и первые ряды аплодировали Людмиле. Они видели ее свежую красоту и симпатизировали ей.

Симпатия выражалась аплодисментами.

В субботу на масляной особенно принимали Людмилу. Она была лучше, чем в прежние дни. У нее как-то особенно блестели глаза, и движения ее были лихорадочны. Иногда с ней бывало что-то странное: выходя из-за кулис, Людмила должна была пройти через всю сцену и сесть на золоченый картонный трон. Людмила выходила, нетвердыми шагами шла к трону, притом вдруг останавливалась или садилась на другой попутный стул, хваталась руками за голову и, будто проснувшись от глубокого сна, сверкала блестящими большими голубыми глазами и шла к трону. Это ужасно к ней шло. Она была прекрасна, симпатична, и публика ценила это.

Ей аплодировали и удивлялись.

В три часа играли «Еруслана» в пятнадцатый раз. Публика переполнила балаган.

— К началу! К началу! — неистово орал швейцар в ливрее с собачьим воротником, с медным околышем на шляпе.

Появление Людмилы встретили аплодисментами. Она вышла еще красивее, глаза ее были еще больше, еще ярче блестели.

На этот раз она не дошла до трона. Выйдя из-за кулис, она сделала несколько шагов к огню передней рампы, потом, при громе аплодисментов, повернула назад и, будто на стул, села на пол посредине пустой сцены.

— Браво! Браво! Бис! — загоготала публика, принявшая эту сцену за клоунский фарс.

Явился антрепренер, опустили занавес, и Людмилу унесли вниз, в уборную, и положили на земляной пол. «Простудилась», — сказал кто-то.

Публика неистовствовала и вызывала ее.

Акт не был окончен. Начали ставить вторую картину, а роль Людмилы отдали какой-то набеленной дебелой полудеве.

Подняли занавес. Ханов вышел с фельдфебельской саблей в руках и, помахивая ею, начал монолог:

О поле, поле, кто тебя усеял повсюду мертвыми костями?

— А кости где? — кто-то протяжно, ломая слова, сказал в публике.

Ханов невольно оглянулся. В первом ряду сидели четыре бритые актерские физиономии, кутаясь в меховые воротники. Он узнал Вязигина и Сумского, актера казенных театров.

— Браво, браво, Ханов! — с насмешкой хлопнули они в ладоши. Задняя публика, услыхав аплодисменты первых рядов, неистово захлопала и заорала: браво, бис!

— Баррр-банщика! — проревел какой-то пьяный, покрывший шум толпы бас.

Ханов ничего не слыхал. Он хотел бежать со сцены и уже повернулся, но перед его глазами встал, холодный, с коричневыми, мохнатыми от плесени пятнами по стенам, номер, кроватка детей и две белокурые головки.

Ханов энергично повернулся к картонной голове, вращавшей в углу сцены красными глазами, и начал свой монолог.

— «Послушай, голова пустая, я еду, еду, не свищу, а как наеду — не спущу и поражу копьем тебя-я!» — замахиваясь саблей, декламировал он дрожащим голосом.

— Это не копье, а полицейская селедка! — громко насмешливым тоном крикнул Вязигин.

Ханов вздрогнул и умоляюще посмотрел на говорившего.

Он увидел торжествующий злобный взгляд и гадкую усмешку на тонких иезуитских губах Вязигина.

— Браво, Ханов, браво! — зааплодировал Вязигин, а за ним его сосед и публика.

Ханов затрясся весь. «А жена, а дети?» — мелькнуло у него в голове. Затем опять перед глазами его Вязигин гадко улыбался, и Ханов, не помня себя, крикнул:

— Подлец! — и бросился бежать со сцены.

Публика, опять приняв поступок Ханова за входивший в роль Руслана, аплодировала неистово.

Ханов вбежал в уборную и остановился у входа.

Посредине пола, на голой земле, лежала Людмила, разметав руки. Глаза ее то полузакрывались, то широко открывались и смотрели в одну точку на потолок. Подле нее сидела ее пьяная мать, стояла водка и дымился завернутый в тряпку картофель.

Мать чистила картофелину.

— Я не хочу... не хочу, мама... не надо мне ваших бриллиантов... золота... мы там играть будем... коленкору на фартук... вот хороший венок... мой венок...— металась и бредила Людмила.

— Что с ней? — спросил у матери Ханов.

— Сама виновата... Вот и честный труд... Говорила я... А теперь картошку ешь!

— А, обе пьяные!—крикнул Ханов и начал раздеваться.

Старуха вскочила со своего места и набросилась на Ханова:

— Как вы смеете? Я сама актриса... Я Ланская... Слыхали? Вы смеете? Я пьяная, я старая пьяница... А она моя Катя... Ах, говорила я ей, говорила... Лучше бы было.— И старуха с рыданиями упала на грудь дочери.

Та лежала попрежнему и бредила.

Слышались слова: венок, букет, Офелия...

Ханов подошел и положил руку на мраморный, античный лоб Людмилы. Голова была, как огонь. Жилы на висках бились.

— Тиф с ней, горячка, а вы — пьяная! — всхлипывала мать.

А сверху доносились звуки военного оркестра, наигрывавшего «Комаринского», и кто-то пел под музыку:

Там кума его калачики пекла,
Баба добрая, здоровая была...

Вл. ГИЛЯРОВСКИЙ

„Трущобные люди. Этюды с натуры". Москва 1887. (Книга сожжена по распоряжению Цензурного комитета.)

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

Портрет В. А. Гиляровского работы заслуженного деятеля искусств А. М. Герасимова. 1910 г. Фрагмент. Масло. *Фронтиспис.*

В. А. Гиляровский. 1878 г. *Стр. 13.*
В. Г. Григорьев. *Стр. 29.*
Ф. П. Горев. *Стр. 79.*
В. Н. Андреев-Бурлак. *Стр. 91.*
П. И. Якушкин. *Стр. 93.*
М. И. Писарев. *Стр. 99.*
В. В. Васильев. *Стр. 101.*
Афиша спектакля «Лес» 8 мая 1883 г. *Стр. 103.*
А. Я. Глама-Мещерская. *Стр. 105.*
А. А. Бренко. *Стр. 111.*
П. А. Стрепетова. *Стр. 113.*
А. И. Южин. *Стр. 121.*
М. В. Лентовский и артисты В. И. Родон, А. С. Бельская, В. В. Зорина, А. В. Запольская. *Стр. 127.*
Сад «Эрмитаж». Главный вход. *Стр. 129.*
Сад «Эрмитаж». Фантастический театр. *Стр. 131.*
Ночлежка на Хитровке. Рисунок В. А. Симова. *Стр. 145.*
Театральная площадь в 70-х годах прошлого века. *Стр. 163.*
В. А. Гиляровский. *Стр. 187.*

В. П. Далматов. *Вклейка между стр. 192—193.*
М. И. Свободина-Барышева. *Стр. 203.*
К. В. Гаевская. *Стр. 205.*
М. Н. Ермолова. *Вклейка между стр. 208—209.*
Адрес МХАТ В. А. Гиляровскому в день пятидесятилетия его литературной деятельности. 1923 г. *Стр. 223.*
Письмо М. Н. Ермоловой В. А. Гиляровскому. *Вклейка между стр. 224—225.*
Ф. К. Вольский. Стр. 235.

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

Предисловие автора 3
Отрывки из автобиографии 5

ЛЮДИ ТЕАТРА

Перелетные птицы 25
Вася . . . . . —
Пешком по шпалам 49
Докучаев 67

Свет и тени 81
Друзья . . . . . —
Бурлаки 9
Яркая жизнь 107
А. И. Южин 119
М. В. Лентовский 125
Театральная публика 133
Шкаморда 139
На Хитровке 142

М. Н. Ермолова 161
Восходящая звезда . . . . . —
В провинции 182
«Реквием» 194
Последняя встреча 220

Гамлет 227
Актер Вольский . . . . . —
Поэт Блок 242

ПРИЛОЖЕНИЕ

Провинциальные актеры 251
Прокормиться бы 260
В балагане 264

Список иллюстраций 275

Редактор В. М. Мотылевская

Подписано к печати 20/III 1941 г.
А36217. „Искусство" № 1013.
Печ. л. 9. Уч.-изд. л. 11,84 Знак.
в 1 п. л. 58240. Тираж 4000 экз.

Цена 7 руб.
Переплет 1 руб.

Типография „Красный печатник"
Гос. изд-ва „Искусство", Москва,
ул. 25 Октября, 5.
Заказ 45.

?